



Ильма Ракуза

Мера моря

П а с с а ж и п а м я т и

Ильма Ракуза

Мера моря. Пассажи памяти

«Алетейя»

2009

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-4

Ракуза И.

Мера моря. Пассажи памяти / И. Ракуза — «Алетейя», 2009

В своих воспоминаниях Ильма Ракуза следует за маленькой девочкой, какой она была сразу после окончания Второй мировой, когда оформлялись новые политические и культурные контуры Европы. Она – дочь матери-венгерки и отца-словенца. Жизнь ведет ее из словацкого городка через Будапешт, Любляну и Триест в Цюрих, а оттуда – еще дальше на Восток и на Запад: в Ленинград и Париж. Повсюду оставаясь чужой, девочка находит себя сначала в музыке, играя на фортепиано, а затем, открыв Достоевского, в литературе. И еще – в движении: в многочисленных путешествиях и прогулках. «Мера моря» – не просто воспоминания о детстве и юности. Книга воскрешает то, что осталось от соприкосновений с людьми: звуки и голоса, краски и настроения, образы и впечатления.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-4

© Ракуза И., 2009
© Алетейя, 2009

Содержание

69 строф Ильмы Ракуза	6
I. Кто был мой отец?	9
II. До самой Вильны	13
III. Другая память	16
IV. No temoгу	17
V. Что сегодня (натюрморт-интермеццо)	20
VI. Что особенного в чемоданах	21
VII. Будапешт, remixed	23
VIII. Сад, поезда	26
IX. У моря	29
X. Амелия	32
XI. Комната для сиесты	34
XII. Городские картинки	36
XIII. Дядя Миши	38
XIV. Цвета	40
XV. Границы	41
XVI. Светлая парентеза	43
XVII. Тени	45
Конец ознакомительного фрагмента.	46

Ильма Ракуза

Мера моря. Пассажи памяти

© И. Ракуза, 2009

© Literaturverlag Droschl, Graz-Wien, 2009

© В. Агафонова, перевод с немецкого, 2015

© М. Шишкин, предисловие, 2015

© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2015

69 строф Ильмы Ракуза

Мемуары поэта – это мемуары или поэзия?

В этой книге много детства, но она совсем не похожа на автобиографию. На страницах встречаются знаменитые имена, но это не воспоминания о встречах с великими людьми.

Это книга о рождении поэзии, о том, как душа, срастаясь со словом, сбрасывает с себя девочку, девушку, женщину, как кожу.

Личность – это охапка воспоминаний. Мы – существа, состоящие из того, что помним. Без памяти мы или еще не существуем, как младенцы, или уже не существуем, если придет Альцгеймер. Мир исчезает каждое мгновение. Воспоминания – это то что остается от мира после его исчезновения. Человек сохраняет воспоминания, поэт их создает.

Зачем пишут мемуары? Рукой водит страх смерти? Мы хватаемся за возможность обманом перейти черту? Оказаться по ту сторону? Посмотреть на свою жизнь оттуда? Остаться, исчезнув?

Подведение итогов? Но поэт готовится к уходу со своей первой строчки. Каждое написанное слово смотрит со страницы на склоненное лицо уже с далекого берега.

Или психотерапия? Выбирать воспоминания о лучшем в жизни и избегать постыдного и мучительного. Психологи утверждают, что непосредственным побуждением к воспоминаниям является в большинстве случаев доставляемое ими удовольствие. “Удивительно... наслаждаюсь воспоминаниями не меньше, иногда больше, чем наслаждался действительностью”, – написал в дневнике Толстой 6 июня 1905 года.

Или воспоминания – это благодарность? Возможность сказать спасибо тому, кто все это дал: дорогу, детский плач, море, закаты, слезы, смех, речь, слова?

А вдруг это немножко месть? Ведь выбор только твой: кого взять с собой, а кого нет. Неупоминание – исчезновение. Не быть написанным – значит не существовать. И мы никогда не узнаем, кого не взяла с собой Ильма Ракуза.

Или мемуары пишут, чтобы зацепиться? Ухватиться за что-то, что не утонет в море времен? Вцепиться в людей, с которыми столкнула судьба, как за спасательный круг? За детство? За любимых?

Память – Ноева скорлупка. Можно взять с собой только самое необходимое.

«По пути домой запах соленой воды смешивался с ароматом барвинка. Я могла угадывать, который час, по одному только запаху».

Вспомнить – ощутить снова. Вспомнить для писателя – сотворить. Воспоминание как сотворение.

Эта книга – стихотворение в 69 строф. В этом стихотворении много моря – Средиземноморья, Балтики, но еще больше там моря времени. Эта книга о времени, о том, как его ничтожно мало. В оригинале название звучит так: „Mehr Meer“. Дословно: больше моря.

Главное действующее лицо этих воспоминаний остается неназванным – любовь. Все, о чем пишет Ильма, пронизано ее любовью – музыка, дорога, католическая литургия, лагуна Градо, Нида на Куршской косе, набережные ахматовского Петербурга, старый чемодан отца.

Эта книга – редкое объяснение в любви Восточной Европе, ее городам и людям.

Ильма – поэт новой Европы без границ, сплетенной из языков и культур. Дочь венгерки и словенца, она впитала в себя в детстве и отрочестве такие несхожие миры: Будапешт, Люблян, Триест, Цюрих. Ее отчизна – вся европейская культура. Вот языки, на которых она говорит, как на родном: немецкий, венгерский, словенский, французский, русский, английский. Она говорит про себя: «Многоязычие для меня так же естественно, как шум прибоя. Оно успокаивает, это моя родина».

Она переводчица, литературовед, критик, но прежде всего поэт. Она переводила Цветаеву и Маргариту Дюра, Данило Киша и Ремизова. Каждый из этих авторов входил в плоть ее собственного слова.

В плоть вошел город на Неве, в котором она провела целый год в юности. В ее жизнь вошли люди, которые дали ей урок выживания поэзией там, где трудно выжить, не оскотинившись. Встречи с Бродским – дар судьбы. Урок Бродского – сохранять чувство собственного достоинства всегда и не смотря ни на что.

В этой книге много историй и Истории, но нет никакой хронологии. Ее хронология – запахи, вещи, звуки, несказанные слова, виды из окна вагона, прикосновения.

Мемуары писателя не о том, что было, а о том, как становятся писателем. Книга о рождении слов. «Сквозь ночь проносились, вместе с поездами, целые составы слов, одни рифмовались, другие наталкивались друг на друга.»

Лучшие страницы этой книги – о детстве. Детство – тайнопись будущего. С другого конца жизни читается то, что тогда было зашифровано. Чтобы стать писателем, необходимо ребенком почувствовать потребность в превращении «сейчас» во «всегда».

«В лесу или на краю леса я играла в «сейчас». Я кричала «сейчас», слушала эхо и знала, что «сейчас» уже прошло. Только произнесешь, и настоящее опрокидывается в прошлое, словно навзничь падая в море. Но море было далеко, поэтому я довольствовалась эхом. Эхо делило время, которое я подстерегала, чтобы разгадать. О будущем я не думала. «Сейчас». И снова «сейчас»...»

В книгах ребенок открывает свободу – свободу фантазии, свободу бесконечной дороги внутреннего Я: «Читаю, следовательно существую».

Это не описание жизни, это рассказ о счастье жить, потому что ускользающую жизнь можно удержать словами.

«Мера моря» – это книга о радости спасения. Спаситель – язык. Лодка – литература.

Это светлая книга о расставании. О расставании с уходящими людьми. С уходящими годами. С уходящими странами. Детством. Первой любовью. Написанными стихами. Книгами. Жизнью.

Расставанию можно противопоставить только встречу. Воспоминания – это каждый раз встреча, маленькая победа над смертью.

Текст дробится, распадается на миниатюры. Это осколки прожитой вселенной, в которых отражается самое главное – знание, что все не напрасно, что каждая мелочь, каждая брошенная тень или брошенное слово имеют свой сокровенный смысл, открытый только ищущему.

Ткань этой книги соткана из дорог. Сама книга – дорога длиной в пол века, которая, будучи пройденной, исчезла в пустоте небытия и которую теперь, оглядываясь, Ильма мостит заново, подыскивая материал крепче и надежнее камней – слова, чтобы прожитая жизнь уже не смогла исчезнуть.

«Переезды подтолкнули меня к самостоятельности, обратной стороной которой был страх. Папа, мама, чемоданы и я – вот был мой мир. Но поскольку за папу, маму и чемоданы держаться не получалось, я поняла, что единственный мой дом – это я.»

Ильма – кочевник. В начале – детство на чемоданах, кочевой образ жизни, который выбрала за нее судьба. Потом ее собственный осознанный выбор. Она не останавливается даже когда годами живет в одном городе – Берлине, Париже, Цюрихе. Дело не в географии. Поэт – кочевник по мирозданию, понимающий, что жизнь – это ночевка под звездами.

Потом будет космическое одиночество человека перед смертью. А пока еще вынужденное одиночество детства – тихий час.

«Грезя наяву, я создаю себе мир. Сквозь щели в жалюзи всегда просачивается немного света, образуя дрожащие полосы или пятна. Я не могу насмотреться на это представление. А

это не козья голова? Не ослиный профиль? Вглядывание требует толкований, и комната вдруг оказывается обитаемой. Населенной зверями и другими существами, я даже слышу их шепот. Каждый раз заново переживаю я превращение моей camera obscura в комнату чудес, а моего одиночества в счастье. Даже бордовая плитка на полу начинает говорить. Если она говорит достаточно долго, я трогаю ее ступнями.»

Эта книга о превращении одиночества в счастье.

Михаил ШИШКИН

Антропологическое страноведение

*Человек граничит с морем,
Он – чужая страна,
В нем кочуют реки, горы,
Ропщут племена,
В нем таятся руды, звери,
Глеют города,
Но когда он смотрит в точку
Тонет, тонет навсегда.
Человек граничит с морем,
Но не весь и не всегда,
Дрогнет ум, потоп начнется,
Хлынет темная вода.*

Елена Шварц

*Жизнь уникальна, но уникальной ее делают слова, что предшествуют
памяти.*

Жак Рубо. Автобиография.

I. Кто был мой отец?

Когда он умер, после него не осталось ничего личного. Ни писем, ни рукописных заметок, ничего. В его письменном столе лежал ключ от машины с брелком, серебряным талером с Марией-Терезией, в ящиках банковские выписки, страховые свидетельства, все аккуратно сложено. Ни одного неоплаченного счета. Все прозрачно, понятно, правильно. Цифры, маленькие, большие. Абстрактный космос. Картонные папки розового, лимонно-желтого, мышиного цвета, без пятен и заломов, без запаха. Он позаботился о нас, на много лет вперед.

Это была самоотверженность.

Я понюхала его вещи. Они тихо висели в шкафу. Ряды одежды как колонки цифр. Утешили слегка обтрепанные рукава свитеров, да стоптанные внизу кожаные домашние туфли. Я чуть ли не сочувствовала им. Доверчивее быть нельзя. И более зависимым тоже. Дойдя до безмолвной вереницы галстуков, я развернулась.

Он хотел. Хотел кое-что записать из своей жизни, потому что я его об этом просила. Для потомства, сказала я, для нас, сказала я. Он так долго вынашивал эту мысль, пока не стало слишком поздно: он упал со стула и остался лежать. Так и не написав ни строчки.

Снаружи декабрь и с голых деревьев стекает мокрый снег. Обозначена каждая ветка, сад стал яснее. И прошлое прояснилось. Его скелет протягивает мне воспоминания, связку прутьев с несколькими пылающими листьями.

Когда отец слушал музыку, он склонял голову набок, как птица. Он сидел в синем кресле, я – в бежевом. Мы не разговаривали, мы были погружены в Седьмую симфонию Брукнера. Иногда он подпирал голову, словно она становилась для него слишком тяжелой, тяжелой от мыслей. Только ему была ведома река его мыслей. Река, что появлялась издалека и бог знает куда текла. Эта река крепче всего сплеталась с музыкой, не выдавая своих истоков.

Отец и был молчаливым, и не был. Был и открытым, и замкнутым одновременно. Он был великодушным, отважным безмерно, лишенным тщеславия, стойким как дерево. Небольшого роста, хрупкого сложения, его глаза светились лукавым юмором. Пафос был ему чужд. Как чужда была помпезность католической церкви. Освобождения он искал в музыке и в природе.

Иногда я делила с ним его пространство. Когда мы молчали так единодушно, что наши дыхания сливались воедино. Во время Седьмой симфонии Брукнера, на прогулке в каштановом лесу. Ни с кем другим я молчания не выносила, появлялись диссонансы, возникала скованность. С отцом было просторно, говорящая тишина.

Мы шли. Из Бондо в Кастасенью, дорогой римлян. Гравий шуршал под нашими подошвами, с верхушек деревьев – птичьи крики. Неукротимая зелень, всех оттенков. Среди них серый цвет валунов, поросших мхом. Мы шли быстро, не говоря ни слова. У лесной лужайки остановились. Впереди проступали горы, зубчатый горизонт в сияющем свете. Потом нас снова принял лес. Здесь росли высокие ели и лишь иногда встречались каштаны, и дорога пошла вверх. Мы по-прежнему шли быстро, словно по прохладному туннелю. Пахло смолой. И вдруг я с ним заговорила. Расскажи, отец, о прошлом. Вот так, в лесу, без подготовки. Он не удивился. В будни времени мало, и в присутствии третьих лиц я не хотела ни о чем спрашивать. Сейчас можно, хоть дыхание у нас и было частое.

– Ты ведь уже для школьной газеты писал оппозиционные статьи?

– Я считал это своим долгом.

– Разве в 1933 году в королевстве Сербии, Хорватии и Словении за это не преследовали?

– Мой отец был профессором гимназии в Мариборе. Он разделял мои убеждения, но сам открыто выражать радикальные взгляды не мог, говорил, что это опасно. Я принял к сведению.

– Исключение из школы не угрожало?

– Будь я еще активнее, может быть, и да.

– Значит, ты сдал экзамен на аттестат зрелости и поехал в Любляну?

– Я изучал в Любляне химию и завершил учебу в 1940 году, у профессора Самеца, который издал мою дипломную работу в Берлине, в издательстве «Де Грёйтер». Мне тут же предложили место ассистента в Техническом университете в Загребе, кстати, у Владимира Прелога, будущего Нобелевского лауреата. Если бы я принял предложение, то вскоре оказался бы в руках у усташей, Прелог в это время сбежал в Швейцарию. Ну, и я поехал в Будапешт.

– А что ты делал в Будапеште?

– Я ставил опыты по извлечению витаминов из дрожжей в фирме «Дрейер-Хагенауэр».

– Интересно.

– Фирма стала военным предприятием. Тогда я познакомился с Эмилем Вольфом. Он дал мне заказ на исследования, и очень меня этим выручил. На это же время приходятся мои контакты с сербом Йовановичем.

– Это имя ты уже однажды упоминал.

– Йованович был связан с Молдованым, который имел влияние и представлял в швейцарском посольстве интересы югославских граждан. Я получил швейцарский «фрайпасс» – корочку, которая давала защиту от венгерских властей. К Йовановичу я привел некоторых моих земляков-евреев. Он на дунайских судах тайно переправил их в Югославию и тем спас.

– А тебе опасность не грозила?

– Да как сказать. Я уже дружил с твоей матерью, когда меня схватили хортисты и на неделю интернировали в Чакторню. Они думали, что у меня есть оружие и что я связан с партизанской группой сторонников Тито из Мурасомбата. Меня освободили благодаря Йовановичу.

– Когда ты вернулся к маме в Римасомбат?

– В 1943. При мне была моя швейцарская «корочка». Немцы ее уважали. Когда я как-то раз вернулся в Будапешт, выяснилось, что меня разыскивали «Скрещенные стрелы». Свою готовую диссертацию я еще раньше отдал на хранение некоему Фаркашу. Он ее потом опубликовал под своим именем. Дом, в котором оставались мои вещи, чуть позже разбомбили. Из-под обломков мне удалось спасти пару книг и фотографий. Это все.

– Главное, ты остался жив.

– Остался, хоть и без докторской степени.

– А Римасомбат?

– Линия фронта проходила по центру города. Немцы вывели из строя водопровод. Я под пулями добывал воду. Когда пришли русские, первое, что они требовали – часы – «Давай часы!» – и спиртное. Они выпили даже жидкость из аптечных склянок с заспиртованными необычными эмбрионами.

– А потом?

– А потом кончилась война. Родилась ты. А спустя год мы уехали в Будапешт.

– Ты не жалел об этом?

– Нет. Я познакомился с Миши. Миши был очень умным, хоть и тяжелым человеком. Он был офицером британских секретных служб, воевал в Египте против Роммеля и получил тяжелое ранение в плечо, очень его мучившее. Он убедил меня поддержать Тито. Позже мы основали в Триесте фирму «Интерэкспорт». А в 1951 году перебрались в Цюрих.

– Я помню Миши. Великий меланхолик. Разве он не покончил с собой в Лондоне?

– Точно. Его жена пережила его лет на двадцать, была покрепче духом.

– Почему Цюрих?

– Я хотел в Швейцарию. Правда, Швейцария нас не хотела. Мы уже сидели на чемоданах, готовые ехать дальше в Лондон, но в последний момент все, к счастью, сложилось.

– Тебе повезло.

– Не отрицаю.

– А Тито?

– Некоторое время я работал в югославском консульстве. Тогда-то политика Тито и стала вызывать у меня недоверие. Я не хотел и не мог поддерживать этот режим. И отрекся от него. Расплата – паспорт лиц без гражданства.

– Никаких компромиссов, ты такой.

– Компромисс был бы для меня смертелен.

Пока он рассказывал, в его глазах появился дерзкий блеск, голос стал молодым.

– Сколько же раз ты избежал смерти...

– Были трудные времена, – задумчиво сказал он.

Я взглянула на него. Снизу вверх. С уважением.

Вот так всегда: как могла повернуться жизнь, в какой момент. Пойдешь на распустье налево, ведьма схватит; пойдешь направо, окажешься у моря, а там тебя ждет корабль.

Я не ропщу. От этого меня безмолвно отучил отец, который сам никогда и ни на что не роптал. Я только задаю вопросы, быстрее, чем могу ответить. Полжизни за «железным занавесом», что было бы со мной тогда? Натянуть капюшон и все. В лондонском типовом доме без самовара, с машинкой «ремингтон», еще один вариант. Так не должно было случиться.

А как тогда должно было?

Дорога вышла из леса, стала тропой, размашистым серпантинном пошла вниз. Крутые зеленые склоны с сарайчиками, перед которыми паслись козы. Глубоко внизу поблескивали гнейсовые крыши Кастасеньи. Что-то позвякивало, вдали шумел ручей. Там проходила граница.

Теперь мы шли друг за другом. Папа надел кепку, время от времени указывал рукой на какое-нибудь животное или растение, останавливался от удивления. Удивляться он не разучился. Даже тому, что он в свои восемьдесят лет бродит по этим горам.

Четверо его соучеников были убиты в Маутхаузене. Двое сидели в Голи-Отоке. О многих он не знал, куда их разбросало. Миши покончил с собой. А тех, кто выжил, в Будапеште или Любляне, давил тяжелый груз воспоминаний.

И отца тоже. В повторяющихся снах его настигали страхи. Мама говорила: среди ночи он садится в постели, тяжело дыша, в холодном поту. Успокаивается, когда я беру его за руку.

Коровы паслись на широком лугу над Майрой, которая, пенясь, текла в сторону Италии. Назад мы шли молча, нагруженные своими мыслями.

Через три с половиной года он умер. От болезни, которая встречается очень редко и чуть ли не только в Японии, болезни Розаи-Дорфмана.

Всплывают картинки и сцены: как он на два часа каждый день исчезал за газетой, недоступный для разговора, отстраненный и вместе с тем по-своему повернутый к миру. Как он жаловался на боль в сердце, и как, по моему детскому разумению, сердце находилось глубоко внизу, где-то в половых органах. Как он носил ребенка: из дома в машину, из машины в дом. Как он немилосердно меня поправлял, когда я играла на рояле, из другой комнаты крича: «Врешь!», и эти возгласы проникали в меня до самых кончиков пальцев. Как профессионально он дегустировал бордо. И по телефону сразу переходил к делу, никакой болтовни. Ты любишь меня лучше всех, сказал он однажды. Лучше всех, не больше всех. Я запомнила.

Могу ли я назвать его прагматиком? Он верил в то, что решения есть и искал их. От расплывчатой сферы чувств, ускользавшей от рационального осмысления, он держался на почти-тельном расстоянии. Мы говорили о том и об этом, часто о политике, но почти никогда о чувствах. В этой сфере он был пуглив, слегка беспомощен и неуклюж. Он отказывал себе в этом. Но сказать, что он не чувствовал, что происходит с другими, нельзя. Может быть, он боялся остроты своего восприятия, и своей ранимости.

Ему не были свойственны сомнения, нерешительность. Когда он заметил в деревне машину со словенскими номерами и увидел, что она и через пять дней после заметного похолодания стоит все на том же месте, то понял, что с альпинистами что-то случилось. И сообщил в спасательную службу. Спасатели на вертолетах обыскали Пиц Бадиль и обнаружили на пресловутой северной стене признаки жизни: кто-то махал красным вымпелом или платком. Спасательная операция была сложной, но успешной: словенской паре альпинистов, застигнутой снегом и холодом, три дня пришлось просидеть на бивуаке, они получили обморожения, но выжили. В газетах и отца называли героем, но это для него ничего не значило. С молодыми словенцами с тех пор его связывала дружба, вот это было важно. И то, что они вернулись, чтобы пройти гору до самого верха, эту сложную, величественную гору.

Снег идет, тает, снова идет, ложится на все подряд. Белая изгородь, поля. И мир так тих, словно его обложили ватой.

Как это было. Из ниоткуда возник звонок. Отец говорит только: нас оклеветали. Курцмайер, этот старый нацист под нами, заявил на нас в полицию, мол мы подозрительны. Что у нас бывают какие-то югославы. Коммунистическая «пятая колонна» и все такое. Никогда я не видела отца в таком гневе. Человек с трудом находит себе местечко в демократической Швейцарии, устраивается в Цюрихберге, а тут такое. В многоквартирном доме, в 1960 году. От возмущения он, недолго думая, купил небольшой особнячок, хотя это значительно превосходило наши возможности. Чтобы избавиться от клеветы соседей. Чтобы жить с достоинством.

Впрочем, прятать было нечего: Восток – наш багаж. В багаже были наши корни и детство, запахи и крупные сливы. Бурый уголь и страхи, паровозы и поэтапное бегство. Мы пришли ОТТУДА и не обрывали связей. Ни с виноградниками между Подгорцами и Иерусалемом, ни с друзьями на Драве и Муре, ни с холмами Римасомбата, который теперь официально называется Римауска-Собота. Режимы – это одно, а топография – другое. Языки, блюда, жесты. Азбука чувств. Отец все свою жизнь считал по-словенски. На словенском он разговаривал и сам с собой.

Я знаю слишком мало о нем.

В юности он играл на виолончели.

Очень любил тафельшпиц, блинчики с творогом, салат из одуванчиков с картофелем и тыквенным маслом, свежую адриатическую дораду. И без вина никак. А после еды – зубочистка.

Принципы? Да. Догмы? Никогда. Сенека был ему ближе, чем Библия. Больше всего он любил музыку, самое невесомое из всех искусств.

Рожденный под знаком Рыбы. И нежный, и не ухватишь.

II. До самой Вильны

Женская линия предков с материнской стороны ведет нас в Польшу и Литву. Контратовичи прежде звались Кондратовичами. Одному из них было пожаловано дворянство за отвагу в битве при Уте (на одном фамильном документе изображен герб с комментарием по-польски: «Kondratowicz, herbu Syrokomla, Sebestyan, wślawił się z odwagi w bitwie pod Utą»). К родственной ветви принадлежит поэт Владислав Кондратович-Сырокомля, родившийся в 1823 году в Смолково и умерший в 1862 году в Вильне, лирик-патриот из поздних романтиков, прочивший Польше лучшую судьбу. В виленском костеле Св. Иоанна я нашла памятную доску в его честь. Похоронен он на кладбище Расу.

Вильна, Вильнюс, с его улочками и холмами, с его девяносто девятью церквями и литовско-польско-русско-еврейским многообразием. Несколько шагов от чудотворной иконы Богоматери («Matka Boska Ostrabramska») и ты сворачиваешь в аллею, которая ведет к русскому женскому монастырю. Монахини скоблят и молятся, молятся и скоблят. Время стоит. Словно перебралось на задний двор, где щебечут птицы и на лавках дремлют морщинистые бабки. И едва начинаешь верить, что снова вернулся в сегодняшний день, как тут же проваливаешься в новую дыру во времени. Ворота, проход в арку, и вот ты стоишь на площади, больше похожей на старый двор, наполовину заваленный досками и строительным мусором, а по левую руку высится храм, униатская церковь. Осторожноходишь. Среди лесов и рухляди ловишь взглядом мерцание иконостаса, пахнет плесенью, вокруг ни души. Словно находишься за кулисами, в замызганных театральных запасниках. На реставрационные работы, очевидно, не хватает денег.

Лишь в гетто сохранились немногие надписи на иврите. А памятные доски фиксируют сплошь утраты: разрушены дома и синагоги, депортированы или расстреляны люди. Тому, что остается, придают шик, превращают в бутик. Один из самых дорогих отелей города красуется в гетто. Я веду речь о 2004 году. На субботнем богослужении в единственной «действующей» синагоге я слышу почти только русскую речь; раввин, американец, говорит с сильным акцентом. «Восточный Иерусалим», как называли Вильну в прошлом, ныне призывает главу еврейской общины из Бруклина, велики и неисповедимы окольные пути Господни.

Я иду по одной из горбатых улочек, круто берущей вверх, с низкими деревянными домишками. Во времена Владислава Кондратовича все выглядело, должно быть, так же. Вот палисадник, а там дерево. Только по булыжной мостовой катятся дребезжащие машины. И вдруг, за поворотом, город кончается и начинается лес. Густой смешанный лес покрывает гряды холмов. В самой мрачной его глубине, в Панеряй, останки семидесяти тысяч евреев, расстрелянных с июля 1941 года по июль 1944 года.

Первый раз я приехала в Вильнюс, тогда еще столицу Литовской Советской Социалистической Республики, в конце шестидесятых. Приехала ночным поездом из Ленинграда. Было очень рано, и номера в гостинице у меня не было. Все мои попытки заполучить комнату оказывались тщетными. Пока, наконец, одна милая женщина-администратор не сжалилась и не предоставила мне комнатку под крышей. Это был добрый знак. И потом меня принимали очень хорошо. Один студент провел меня в сердце Старого города, где самые узкие и кривые улочки плетут у реки свою сеть. Тут-то я на неприметном светло-сером доме и обнаружила памятную доску моему поэту.

Тридцать пять лет спустя вокзал было не узнать. Главный зал отремонтирован, кассы перенесены и модернизированы. Но я хорошо помню, где тогда была очередь, в которой я добыла билет в Ригу на ночной поезд, запрещенный для иностранцев, потому что он проходил по военной и прочим закрытым зонам. Теперь этой кассы нет. Только пути остались такими же.

Пусть мне покажут речку Уту.

Пусть покажут местечки, в которых служил таможенным офицером мой прадед. В различных уголках Венгрии, включавшей в себя Семиградье, часть Словакии и Закарпатье и принадлежавшей Австро-венгерской монархии. Все эти русла рек и границ. Все эти города с новыми именами и смешанным самовосприятием. Все эти смены режимов и войны, разорения и вторжения. Ветер Истории.

Прадед женился на уроженке Моравии, у них было четверо детей, два сына и две дочери. Старший начал учиться медицине, был призван в армию солдатом, попал в русский плен и остался в Советском Союзе. Женился на русской. Попросил родителей, чтобы они выправили ему фальшивый медицинский диплом, в чем они ему отказали. Затем его следы теряются. Младший сын, Элемер, погиб на восточном фронте в Галиции, ему не было и двадцати. «Я еще жив», – писал он в своем последнем письме. Вскоре пришло известие о его гибели. Дочери, разница между ними три года, были по-сестрински привязаны друг к другу. Они ходили в одну гимназию в Унгваре (теперешний Ужгород) и были неразлучны. Старшая, Йолан, стала учительницей, младшая, моя бабушка, вышла замуж за Кароя Зихерта, сироту, который дослужился до директора консервного завода в Римасомбате. Йолан она взяла к себе. Йолан была незамужем, очень набожной и пугливой, как ночная птица. Всю свою нежность она дарила племяннице (моей матери) и ее дочери (мне). Всегда с серьезным лицом она катила детскую коляску, позволяла себя тиранить и третировать. Жертвенность была написана у нее на лице. Пока однажды, в начале шестидесятых, она не упала замертво. Быстрая смерть от разрыва сердца.

Бабушка переехала жить к дочери в Швейцарию, но с сестрой общаться не перестала. Тихо, перелистывая старые письма и альбомы. Ах, это Йолан бы понравилось, читала я по ее губам. Она была застенчива, неброско элегантна, с изысканным вкусом к красивым тканям и материалам. Это она унаследовала от своего отца, офицера таможни, который собирал всякие ценные вещицы: сигаретницы и мундштуки, шкатулки, ножницы, лорнеты, перламутровые, серебряные, янтарные. Бабушка любила пояса и обувь из тонкой кожи. В старости она почти ничего из этого не носила. Имущество было мертвым, материальное свидетельство страсти к коллекционированию, неподсудной за давностью. Законсервированное прошлое. (Консервация была у нее в крови; в буржуазном бытии супруги фабриканта это проявлялось, к примеру, в том, что если не было визитов, она всегда держала кресла под белыми чехлами).

Помню меланхолию мышиных, слишком близко посаженных над выдающимся носом глаз.

Помню ее голову, склоненную над шитьем или крохотным молитвенником.

Помню тонкие руки, терпеливо скользящие по ящикам, чтобы еще раз просмотреть письма, записки, спасенный из прежних времен всякий хлам и заново их разложить, словно эти вещи были гарантией того, что она существует.

Помню ее медленную, осторожную поступь, ее ломкий, почти плачущий голос, ни в чем никогда не смевший перечить моей матери.

Помню ее быстрые зубы, обгладывавшие с куриного крылышка (или шеи) мясо до последнего волокна.

Помню ее трогательную бережливость, с которой она тратила каждый геллер или сантиметр, что злило моего отца. Ее фраза: я не хочу быть вам обузой. Что его, великодушного, по-настоящему сердило.

Помню ее коричневые в оранжевую полоску шерстяные домашние туфли с металлической пряжкой (чехословацкого производства), как она шаркала в них по дому незадолго до своей смерти, надломленная, поблекшая женщина.

Помню, как она жаловалась на газы и отрыжку, симптомы ее болезни.

Помню ее тонкие серебристо-белые волосы, закрученные в маленький узел; ее уши, с вытянутыми, как у Будды, мочками с сережками-гвоздиками.

Помню ее кротость, которая разительно отличалась от гневливости ее дочери. Думаю, она часто плакала. От жалости, от беспомощности.

Род Кондратовичей большой. Кузен моей бабушки, Иренеус, был епископом униатской церкви в Ужгороде. Как он пережил репрессии в советское время, я не знаю. Знаю только, что иконостасы для меня с тех пор магически притягательны, как и долгие, монотонные ритуалы греческого, русского богослужения.

В Ужгороде и по сей день живет Эрнест Кондратович, пейзажист и многократно «заслуженный деятель искусств Украины». Холмы, поля и леса Закарпатья на его картинах сияющие, яркие, сельские сюжеты сказочно-идиллические, как на Таити Гогена. Его и в девяносто три года по-прежнему тянет на природу. Наверное, он сумел бы мне объяснить, что такое малая родина.

Наши пути никогда не пересекались. Однажды, давным-давно, я ехала ночным поездом из Киева в Будапешт. В утренних сумерках я смотрела в окно: на каждой горюшке – деревянная церковь. В Ужгороде я не вышла. Состав долго формировали на пограничной станции Чоп, потом он отправился по широкой равнине на юго-запад, в столицу Венгрии.

Восток Европы, на котором раскинута сеть моей семейной истории, я объехала вдоль и поперек, в основном, по рельсам. Пугающий и притягательный облик вокзалов: желтые, грязно-серые, запаршивевшие, запущенные вокзалы, с колоннами и без, с вонючей пивной или просто с буфетом, с засохшими геранями и железнодорожной будкой, с умершими в провинциальной тоске путями. Где-то звякнет колокол, взметнется машущая рука, и поезд покажется дальше. Вагонные окна грязны, в купе висит холодный туман. Сумеречный свет то пропадает, то появляется снова, следуя неведомым капризам. Снаружи тянутся поля, луга с тощими белыми коровами. Одинокий пес, хромая, бредет из деревни. И когда поезд вдруг останавливается, на перроне уже бешено жестикулирует и смеется орава цыганских ребятишек с коричневыми лицами. Не успеваю я помахать им в ответ, как нас настигает разлука. Мы отправляемся дальше, в такт шпалам. И странно, что это «дальше», словно само по себе этого недостаточно, нацелено не на прибытие, а представляется мне цепью расставаний. Крестьянка с ведром, на коленях у грядки – проехали. Лошадка с танцующей гривой – проехали. Колокольня с мощным куполом – проехали. Проворный столб дыма из трубы покосившейся хижины – проехали. Проехали молодую пару, что держась за руки, стоит за шлагбаумом, в согласном ожидании. Проехали озеро, сверкнувшее среди березового леса, проехали. Смотрю, читаю надписи на венгерском, словацком, литовском, меняют свой язык и проводники. И досыта насмотревшись, начитавшись, я погружаюсь в сон. Он бережно проносит меня по временам и пространствам, теплый кокон, из которого я в какой-то момент выкарабкиваюсь. В Каунасе, Кошице или Пече, после резкого свистка, который катапультирует меня в сонное настоящее.

Чего ищу я?

III. Другая память

Стрелка внутреннего компаса указывает на восток. Но откуда это волнение, когда я вижу аллею с акациями, фрагмент низины, раскинутую как платок площадь, окаймленную одноэтажными домами. Словно зовет что-то: здесь. И никакое имя не сопровождает образ. Образ стоит за любым сознательным опытом. Он родом из таких закоулков памяти, которые я не могу ни контролировать, ни по-настоящему знать. И у него есть власть надо мной. (Дежавю, говорит М., разве это не свидетельство того, что мы уже много, даже несчетное число раз жили на этом свете?)

В снегу кособочится изгородь. Изгородь непременно кривая, деревенская. Тени, галки, все на месте. И я проваливаюсь в надцатое прошлое. Предпрошлое. За тридцать земель.

Затем отары овец, шерстистые на зеленом склоне, в степи. На крутых лугах. Жующие челюсти и волны, внезапно, когда отары начинают движение. Как правоспоминание.

К бог весть откуда взявшимся образам присоединяются звуки и запахи. Пентатоника (с режущими перешагиваниями полутонов), пропета, проиграна на дудке. Пахнет дымом. Пряностями, ладаном.

В чашках дымится чай.

Страна другой памяти – это территория чая.

Между ее оградами и границами меня все трогает. Я следую ее призывам, словно это оклики верных пастухов. Eastward Ho! Вперед на восток!

Время – это конус, жизнь сужается к неумолимой вершине. Я называю ее началом. Потому что отара уже ждет. Потому что дым дышит, где хочет. Я не спрашиваю о причинах. Тоску по родине я выношу за скобки.

IV. No memory

Случайное место рождения. Не совсем случайное, потому что здесь еще родилась моя мать. В Римасомбате, который по Трианонскому договору отошел от Венгрии к Чехословакии, был отобран назад адмиралом Хорти, чтобы после войны стать частью ЧССР и почти через сорок пять – административным центром края Гемер на юго-востоке Словацкой республики. Римавска Собота, двадцать пять тысяч жителей, почти треть которых причислена к венгерскому национальному меньшинству. Гимназия, средняя школа, музей, библиотека, ратуша, два отеля, католическая, лютеранская, кальвинистская церкви, главная площадь в стиле барокко. Синагога (на одной из улочек Старого города) была предана разрушению. Позднее разразился социалистический строительный бум: в шестидесятые годы на краю исторического центра города вырос панельный поселок, прозванный в народе «китайской стеной».

Основанный в 1902 году консервный завод, директором которого был мой дед, существует и сейчас. Здесь делают конфитюры, консервированные фрукты и овощи. Бывший директорский дом, в котором выросла моя мать и родилась я, превратился в административный корпус, причем не изменилась ни лестница, ни расположение комнат. Я без труда нашла комнату, в которой родилась (первый этаж, северо-восточное окно), меня оставили одну. В соседней комнате шел ремонт (стучали молотком), я вышла на единственный балкон, с которого открывался мрачный вид на склады и соседнюю пивоварню. В записях матери речь шла об экипажах, о кучере Кароие, возившем ее в школу; о поросенке Пици, обитавшем на плоской крыше соседнего здания, пока не пробил его час. Рассказы из другого времени.

Я ощупью пробираюсь сквозь тьму не моих воспоминаний, пытаюсь представить, как меня в разгар январской зимы возят по городскому парку, что по соседству, закутанную как крошечная мумия. Городской парк в этот мой приезд голый и пахнет гнилью. Парковые скамейки в полузабытьи, словно хотят порастить мхом. За парком течет речушка Рима: мост, павильон. Здесь проходило идиллическое детство моей матери.

На одной фотографии я в броне пеленок топаю по парку. Мне, наверное, года полтора. На другой – стою на балконе дома, на первом этаже которого находилась мамина аптека. Лето, я в белом платье и с огромным бантом в волосах. Меня слепит свет, или это скепсис, который так рано стал отражаться на моем лице. Слегка прищуренные глаза, голова склонена чуть набок, словно она слишком тяжелая. В руках у меня плюшевый мишка. Вскоре мы переехали в Будапешт.

Иезусмария, говорила, должно быть, тетя Йолан, ребенок простудится.

Ляля хочет поиграть, наверное, говорила я о себе и наматывала ее тонкие серебристые пряди на указательный палец, пока она не вскрикивала. Я дергала ее, цеплялась за платье и со смехом уворачивалась. Так рассказывают те, кто помнит.

Маленький тиран.

Капелька (прозвище), которая быстро растет.

Дедушка, который бы мне спуску не давал, умер через три недели после моего рождения.

Мама (вспыльчивая, энергичная) вкалывала в аптеке, окруженная склянками с заспиртованными уродцами. (Пройдя маршем по городу, русские выпили не весь алкоголь).

Папа? Гордится своей крошечной дочкой.

Я выросла заботами тети, между заводской квартирой, аптекой и парком. Внезапно перешла с материнского молока на колбасу с перцем, чем вызвала острое беспокойство. Четыре зуба, послушания никакого. Вот такие были со мной дела.

Одним морозным до звона ноябрьским днем 2004 года я приветствую город как незнакомка. Но аптека выглядит как на фотографии. Главная площадь словно из альбома. Консервный завод – тоже. Как и желтая, имперских времен, гимназия, в которой моя мать провела восемь счастливых лет. Я иду по улицам, и моя фантазия прокладывает собственные пути. Все близко, только свернешь на какую-нибудь улицу, вот она и кончилась; милая деревенская архитектура: одноэтажные дома, скромно украшенные в окружении невысоких деревьев с шарообразными кронами. Я познаю прелесть обзорности: в этом каре никто не потеряется. И мир, сведенный к миниатюре, кажется наполовину в порядке. (Вот откуда мамино недоверие к большим городам, ее неспособность ориентироваться.) Уже отмечаю: от памятника Томпа до городского парка – 0,8 км; от кафе «Карпатия» до кладбища – 0,9 км; от гимназии до школы, где преподавала Йолан – 0,6 км. Здание строгое, серое, с облупившейся краской; фронтоном выходит на тенистую, усаженную акациями улицу, а сбоку раскинулась спортивная площадка, с тоскливой оградой. Йолан давно уже покоится в гранитном фамильном склепе, с четками, намотанными на запястье. Стою перед местом упокоения Кондратовичей, птица роется в песке. Кладбище цепляется за склон, над ним синее небо. Семейные связи восстанавливать мне не нужно. В Р.-С. родни у нас не осталось. Только какие-то знакомые матери. Но город сам устраивает мне прием, будто я блудная дочь. Приветственным словом бургомистерши и песнопениями под орган, декламацией стихов, букетами и подарками. Небольшая церемония проходит во второй половине дня в свадебном зале ратуши. Я чувствую себя невестой и растроганно благодарю, на венгерском.

Между двумя церковными шпилями солнце бьет прямо в ратушу. Такой светлый момент, и всего в нескольких домах от маминой аптеки. Рабби Нахман говорит: через радость дух в нас вселяется, а уныние его изгоняет. Он говорит: мир как игральная кость. И все переворачивается.

Я приехала туда, где уже бывала прежде, сама того не помня. Спешу от ратуши на северной стороне главной площади к библиотеке на восточной. Читаю свои произведения в перестроенном мансардном этаже перед семью десятками гимназистов, которые в конце допрашивают меня по всем правилам. Какой язык Вы ощущаете родным. Нравится ли Вам город, в котором Вы родились. Нет ли у Вас ностальгии. Что Вы чувствуете, когда пишете. Я говорю о сокровенности языка, избегая упоминать о неразделимости творчества с муками. Лица светятся, и учительница немецкого языка (в элегантной шляпке) полна ожиданий. Я приехала издалека, проверить, здешняя я или нет.

Пани К., жизнерадостная хозяйка этого дома, ведет меня по библиотеке как по джунглям. На бумажной скатерти с бутылками и булочками – разлапистые красные цветы. Все в цветах, все цветет здесь, пышно. В ответ я в книге отзывов рисую маргаритку. Признательна, благодарна и т. д. Она сияет.

Снаружи звездная ночь. Вижу людей, торопливо идущих по площади. Борис говорит: им нужно попасть на последний автобус за город. Большинство учеников здесь ездят из деревень.

Все магазины давно закрыты. В Римавской Соботе тихо. Задаюсь вопросом, где же раньше проходили балы, о которых с таким восторгом вспоминала мама. И где танцуют сейчас? Борис ведет меня по сонным улицам без пивных, без дискотек, без собачьего лая. Они так пусты, что я превращаю их в сцену для моего воображения. Вон там, говорю я себе, живет Ольга Зингер, дочь раввина, самая близкая мамина подруга. А вон тут, откуда пробивается свет, Джуси Вьеторис, приятель по играм. Наверное, занимается музыкой, пока взрослые режутся в карты. А вон там, дальше, живет Илли, кудрявая, жизнерадостная Илли, которая умеет так быстро кататься на коньках.

Но вдруг я вхожу в дом, и там сидит вполне сегодняшняя Катинка, и говорит, и спрашивает, угощает мясом и пирогами. И я погружаюсь в Сегодня.

Отель похож на пирамиду со срезанной вершиной. С балкона я охватываю взглядом почти весь город, и зеленые цепи холмов на заднем плане. Странное новое строение, посткоммунистическое, почти постмодерн. После «китайской стены» объявлен Египет. Засыпаю глубоким сном счастливого изнеможения. Чтобы прямо с утра нестись в музей, который жаждет раскрыть мне свои сокровища уже в восемь утра. (По особому разрешению, со специальным сопровождением, и фотограф зафиксировал мой визит.) Краеведческий музей с внушительными залами без труда вместил палеонтологию и батальную живопись. Быстро обхожу витрины с окаменелыми костями и археологическими находками, с кристаллами, соболями, сусликами, редкими болотными растениями, саблями, национальными костюмами, грамотами и планами города. Наконец, залы с портретами местных знаменитостей, равнодушно встречающих утро. На мгновение меня посещает мысль, обрести пристанище здесь, жить в тихом тет-а-тет с Историей родного края, но время поджигает и я завершаю короткий визит, как сторонний свидетель чужой жизни.

На соседней площади Томпа с постамента нас приветствует национальный венгерский поэт Шандор Петефи. Без патетического жеста не обошлось, конечно, но из-за того, что фигура эта меньше человеческого роста, она кажется уродливой и смешной, как и весь памятник. Не хватило денег? Или венгерскому меньшинству пришлось пойти на компромисс? Халтура свежая, фальшивая насквозь. Карликом стоит Петефи в тени высоких деревьев, сквозь голые ветви которых просвечивает желтый фасад сумасшедшего дома.

Над городом пелена облаков. Мне пора двигаться дальше, хотя я только что приехала. Хотя я только что начала создавать свои собственные воспоминания. Привет, говорят они чужим воспоминаниям. Привет, мама.

Мамина аптека называлась «Единорог». Все у нее было связано с животными. Училась плавать со свиным пузырем, ребенком часами наблюдала за муравьями и бесстрашно совалась в осиный рой, который осаждал сладкий консервный завод. На плоской крыше низкого соседнего здания жили куры, гуси и поросенок Пици. Пици умудрился трижды свалиться с крыши. На первый раз все обошлось. Во второй он сломал ногу. В третий раз он покалечился так сильно, что его пришлось заколоть. Животных любили и съедали не задумываясь. К полднику полагалась колбаса, сало, гусятинная печенка, смалец.

Плюшевые животные были в кровати или в маленькой тележке, которую возили по парку.

Мама была шалунья. Протискивалась (до десяти лет) между прутьями ажурной чугунной решетки, что огораживала фабрику, вместо того, чтобы ходить, как положено, через ворота. Развела на Риме собственный огорожок и без конца гоняла кучера. Фотографировала старой бокс-камерой, писала стихи и рисовала, и охотно ходила в темную, «алхимическую» кладовую горбатой Жужо Рот за маслом и творогом. Мама читала Жюль Верна, мама переодевалась в индейца, мама качалась на качелях до тошноты. Ее ангина была хронической, и всякий раз при расстройстве желудка ей давали касторку. Но это не мешало счастью этого детства в маленьком городке.

Веселая? Она? Я?

Пелена облаков, от земли ползет холод. И снова в путь, и снова прощание и в никуда.

Рабби Мендель жаловался: теперь по шоссе ездят и днем, и ночью, нет покоя совсем.

Пани К. прижимает меня к себе, от нее пахнет сладкой выпечкой. Борис щурится на свету, машет мне.

V. Что сегодня (натюрморт-интермеццо)

Семь яблок лежат в фарфоровой вазе, касаются, не мешая друг другу. Словно скатились откуда-то: все на разной высоте, но не друг на друге. Впереди – в красно-желтую крапинку, остальные – зеленовато-красный муар. Красивая ступенчатая конструкция, и все вместе, в одной чаше – натюрморт.

Ярко-оранжевы клементины в бирюзовой марокканской фруктовой вазе: их черенки с листочками устремлены вверх, маленькие резцы.

Вглядывание превращает увиденное в картину. Она медленно входит внутрь, с цветом и формой, оставляя покой.

Снаружи природа, в иное: деревья, кусты, ветви, каждая сосновая иголка в белой глазури, сверкает. Все высвобождается, как оно есть. Густое – густое вдвойне, нежное – вдвое нежнее. Лишь изредка что-то сыпется с веток. Морось кристаллов.

Этот день сегодня. Заяц в подлеске. Самка дрозда осторожна, смотрит с опаской. Freezing cold. Штрихую мысли, чтобы согреться.

Душа Иванова дрожит от страха перед завтрашним днем, потому что от сегодняшнего его тошнит. Он не видит деревьев, есть только дилемма: он не любит больше свою жену-еврейку, а на другую не решается. Чехов решил за него, быстрой, самонаводящейся пулей. Темный лес без дорог – это Иванов. И тот, кто мечется в собственном лесу как умалишенный. Вперед, назад, по кругу. И птичий крик его не очарует. Это как соблазн заблудиться. И когда приходит осознание, что это случилось, случилось неопровержимо, он попался, раздается выстрел. Довольно.

Снова толстый дрозд, хохлится в кустах. А юркие малиновки скачут по березовым веткам. Солнце прорывается сквозь туман, стало яснее.

Холод глотает звуки. Или они прячутся как звери. Молчат изгороди. Молчат яблоки в вазе.

VI. Что особенного в чемоданах

Рихард говорит: это чемоданная патология. Не могу больше выносить вида чемоданов. Рихард все кочует и кочует и не знает, как остановить эту карусель. И когда он на меня смотрит, у меня в голове начинает крутиться мой собственный фильм с чемоданами.

Вообще-то, мы всегда жили на чемоданах. Чемоданы лежали под кроватями, на шкафу, в узкой прихожей. Чемоданы. Матерчатые, из темно-коричневого картона, из потертой свиной кожи, с ремнями, чтобы утягивать, ведь они были пухлые, тяжелые, им предстояло выдержать много. Если мама склоняется над глубоким чемоданным зевом, значит, время пришло. С каждой вещью, которую она опускает внутрь, машинально расправляя, настоящее соскальзывает в неуловимое Куда-то, и Здесь больше не здесь. Я стою рядом как будто рядом с собой. Странность в том, насколько быстро все вокруг чемодана развеществляется: кровать, на которой он лежит, стены, комната, которая мне еще так близка. Едва только чемодан начинает поглощать вещи, как между временами создается воображаемое пространство, в котором я беспомощно и потерянно топчусь. Меланхолия отстраненности касается буквально всего. Мы еще не уехали, но уже не здесь, и чем дольше делятся сборы, тем мучительнее это для меня.

Меня никогда не спрашивали. Решение об отъезде всегда принимали другие. Родители, обстоятельства. Ты едешь с нами. Я еду с ними. В Неизвестное. В очередное временное пристанище. И так все детство.

Опрометчивым отъезд никогда не был. Никакого бегства, когда теряешь туфельку. Мы не бежали, мы собирали чемоданы. Все имущество в чемоданах, так это было. Но багаж нетяжелый. Фургон с грузчиками не нужен. Все неподъемное оставалось. Мы жили по большей части среди чужой мебели, которую, едва я к ней привыкала, мы вновь оставляли. И снова я заглядывала в зев чемодана. Его преданность была бесспорна.

Слово «плед». Слово «меховая варежка». Мягкие, пушистые, согревающие вещи. Почти невесомые. Потому что нести чемоданы было чистым мучением. Все, что не на колесах, становилось тяжким грузом, пусть даже в нем собрано все имущество.

Не могу больше выносить вида чемоданов. Говорит Рихард.

Кому ты это говоришь.

Человек перестает понимать, кто он и откуда.

Разве место так важно?

Я думаю, да.

Когда я в 1972 году была у Бродского в его полутора комнатах, мой взгляд сразу упал на огромный шкаф, на нем сверху лежал громадный черный чемодан и крошечный американский флаг. Через несколько месяцев Бродского выслали.

Чемодан – это знак. И только потом предмет обихода.

Стигма кочевников?

Прекрати. Терпеть не могу это слово.

Оно у всех на устах. В конце концов, мы живем в эпоху миграций. Или, если хотите, в эпоху мобильности и путешествий.

Только никаких вокзалов, никаких аэропортов. Я тут же впадаю в бешенство.

Но ведь чемоданы могут и предвещать радость, не так ли?

Радость экспедиции? Новой встречи?

Вроде того.

Мое любопытство обойдется без чемоданов. И чем быстрее я спрячусь в летнем шведском лесу, тем лучше.

Я думала, тебе не хватает света.

Ну да.

Надо бы расспросить тебя о твоих предках.

Оставь.

Мои рассеяны почти по всей Восточной Европе.

И ты хочешь пройти путями всех родственников, как будто тебе своих путей мало?

Думаю, да.

Моя карта Центральной Европы вся разодрана многолетними командировками.

Отсюда и чемоданный синдром?

С возрастом я все чаще спрашиваю себя, кто я.

Чемоданы, даже сплошь усеянные яркими наклейками, не дают на это ответа.

Чемоданы причиняют боль.

Я одолжу тебе свою сумку. Сумка есть сумка.

А если я с ней исчезну?

В леса?

Не знаю. Чтобы стать легче.

Go ahead.

Легкость, да. Я езжу с ручной кладью (говоря самолетным жаргоном), сумка набита до отказа. Пальто – моя кибитка, книги – мой дорожный паек. Бутылка с водой. Зубная щетка, ручки, бумага. Цыганская жизнь с раннего возраста приучила меня ограничивать потребности. И научила бережно обращаться с немногим. Не дай бог потерять что-то. Платок на голове – украшение и защита. Предпочитай удобное, немнущееся, многофункциональное. А в остальном ты сам себе дом. В пути ты или нет, кров обеспечиваешь себе сам.

Это я узнала, даже раньше, чем хотелось бы. Переезды подтолкнули меня к самостоятельности, оборотной стороной которой был страх. Папа, мама, чемоданы и я – вот был мой мир. Но поскольку за папу, маму и чемоданы держаться не получалось, я поняла, что единственный мой дом – это я сама.

Так мы стоим на ветру. Тот чемодан из свиной кожи давно уже истлел. Шаль в передрыгах истрепалась. Множатся новые поколения шалей. И колесики катятся по городам. Но иногда на меня накатывает, накатывает внезапно, и я становлюсь маленькой и беззащитной. В надежде на помощь протягиваю руку к тому, за что можно держаться, к чемоданному ремню. К лоцману во времени.

VII. Будапешт, remixed

Мы жили у подножья Розового холма, на улице Тёрёквес. Она круто поднималась вверх и оттуда открывался широкий вид вниз, на Пешт. Спустя два с половиной года после окончания войны дома еще носили следы повреждений, в нашей квартире на первом этаже зверствовали клопы. Мама рассказывает, что они вытащили остов кровати на улицу, полили бензином и подожгли, чтобы вывести паразитов. Мои воспоминания молчат, мне было в то время около двух лет. Как проходили дни? Мы много гуляли, говорит мама. По пути в город мы всякий раз проходили мимо гробницы Гюль-баба, так называемой турецкой капеллы, которая была возведена в 1543–1548 годах для этого святого дервиша. Гюль-баба означает «отец роз». Неподалеку от турецкой капеллы расположена купальня святого Луки и рядом имперская купальня с девятью сернистыми источниками и баней, сохранившейся с турецких времен. Теплая вода, пузатые купели и изящный турецкий полумесяц где-то глубоко залегли в хранилище моей памяти.

Пока под будапештской землей бурлили целебные источники, на поверхности сменяли друг друга римляне, мадьяры, монголы и османы. Буда был резиденцией паши, пока в XVIII веке не стал вновь столицей Венгрии.

Рисуй пашу, учила меня бонна Пири, рисуй пашу. Она брала мою руку с зажатым между большим и указательным пальцем карандашом и проводила: две черточки – глаза, одна – нос, поперек – рот и круг – голова. Шея – вертикальная черта, живот – большой круг, две руки и две ноги, вот и готово, человек-паша. По-венгерски получался стишок, который я быстро запомнила:

Vessző, vessző, vesszőcske,
Készen van a fejecske,
Hosszú nyaka, nagy a hasa,
Készen van a török pasa.

Обращая свой взгляд в прошлое, я вижу Будапешт все более и более османским. И когда мама рассказывает, как я тиранила всех, как не давала им с папой вечером уйти из дому и мучила бедную бонну Пири, мне кажется, что я вела себя не просто своенравно, но именно как паша.

Много детского плача. Вид руин, с которыми не справлялась социалистическая стройка, так влиял на меня? Мы с мамой часто гуляли, не только среди холмов. Темные вереницы улиц, многое еще в развалинах, растрескавшиеся тротуары, ямы в грубой мостовой. Не ходьба, а бег с препятствиями. А набережные Дуная? Река в моей памяти не сохранилась. Эта медлительная, слепящая своим блеском масса воды была, прежде всего, зеркалом. В реке самодовольно удваивались здания, мосты. Ах да, был же еще зеленый остров Маргариты. И корабли. Вот корабли в моей памяти остались. Медленно идущие вверх по реке баржи, грузовые суда, пароходы – пока не скроются из виду. Бесшумно или с долгим гудком. Ты стоишь на берегу и в тебе рождается тяга к дальним странствиям. Ты ребенок и не понимаешь, насколько велик этот поток. Что он будет все шире и шире и – разойдясь в мощную дельту – впадет в Черное море. Где уже когда-то были все эти римляне, дакийцы, османы.

Черное море. Как черное солнце. Это и сейчас еще сидит во мне как ностальгическая метафора.

А Будапешт? Было бы преувеличением сказать вместе с Дежё Тандори: «Ковчег моего детства, его баюкал, качаясь, горизонт дунайских вод». Убаюкивали меня если не волны залива Триеста, то коляски, поезда, машины, в которых я мгновенно засыпала и просыпалась лишь против своей воли. Если меня везли, я ничем не отличалась от багажа. Когда мы шли, я была

готова к открытиям, свое нравна, самоуверенна. Как долго я держалась за мамину руку? Как часто пугала ее, вырываясь? Сколько страха связывало нас под изменчивыми небесами?

Думаю, она рассказывала мне сказки, чтобы успокоиться самой. Чтобы этот другой, словесный поток противопоставить стаккато перемен. Петушок бежал, огонь пылал, но все это нас не касалось. Впрочем, в сказках решения всегда наготове, а для добрых дурачков и умных поросят предусмотрен хэппи-энд.

Расскажи. Дождь стучит по стеклам, снег засыпал гробницу Гюль-бабы, мы притаились в тепле, а петушок сражается за свое алмазное сокровище:

Жила-была одна бедная женщина, и был у нее петушок. Петушок рылся в навозе и однажды нашел алмазный полукрейнцер. Тут мимо ехал турецкий император, увидел он алмазный полукрейнцер и сказал петушку: «Петушок, отдай мне алмазный полукрейнцер». «Нет, не отдам, я отнесу его своей хозяйке». Но турецкий император отнял у петушка полукрейнцер и запер его в своей сокровищнице. Петушок рассердился, взлетел на самый высокий забор и закричал: «Кукареку, турецкий император, отдай алмазный полукрейнцер!». Турецкий император поскорее ушел в дом, чтобы не слышать этих криков. Тогда петушок вспорхнул к нему на подоконник и закричал: «Кукареку, турецкий император, отдай мне алмазный полукрейнцер!». Турецкий император пришел в ярость и послал своего слугу изловить петушка и бросить его в глубокий колодец. Слуга схватил петушка и бросил его в колодец. А петушок начал: «Зобок, зобок, напоись водой!!!». И зобок выпил всю воду из колодца. Снова взлетел петушок на окошко к турецкому императору. «Кукареку, отдай алмазный полукрейнцер!». Снова послал император своего слугу изловить петушка и бросить его в огненную печь. Поймал слуга петушка и бросил его в огненную печь. А петушок начал: «Зобок, зобок, отдай водичку, погаси огонь!». Зобок отдал воду и погасил огонь. И снова взлетел петушок на окошко. «Кукареку, турецкий император, отдай мой алмазный полукрейнцер!». Еще пуще разозлился император и послал слугу изловить петушка и бросить его в улей, чтобы пчелы закусали его до смерти. Слуга поймал петушка и бросил его в улей. А петушок запел: «Зобок, зобок, заведи всех пчел!». И зобок забрал всех пчел. И снова взлетел петушок на окошко и запел: «Кукареку, турецкий император, отдай алмазный полукрейнцер!». Турецкий император уже не знал, что и делать с петушком. Послал он слугу поймать петушка и засунуть его в императорские шаровары. И тут петушок запел: «Зобок, зобок, выпусти пчел, пусть покусает императора прямо в зад!». Зобок выпустил пчел, а они в зад императору как вопьются! Император как подскочит! «Да ну его, этого петушка! Отнесите его в мою сокровищницу, пусть ищет свой «алмазный полукрейнцер». Оказался петушок в сокровищнице и завел свою песенку: «Зобок, зобок, наведи-ка денег у императора!» И зобок набрал денег, целых три сундука. Петушок отнес их домой и отдал своей хозяйке. И стала та очень богатой. Жива и по сей день, если не померла.

В других сказках говорилось про козла с ободранной шкурой, про гнома Панциманци, про человечка Янко ростом с фасолину или про Жужку и черта. Они были все полны присловий и повторов, которые задавали ритм моему детству. «Козлик, козлик, сыт ли ты?» «Да! Не стану есть листья». Или когда козел-обманщик начинал врать: «Сыт ли? Очень глуп вопрос, да я голоден, как пес!». Мир сворачивался в двустипия и четверостишия, в компактные, звонкие формулы, которые попутно несли высшую справедливость. До сих пор я слышу глухой бас черта, притворяющегося глупым: «Tányértalpm, lompos farkam, szép lány mátkám, bonts ágyat!» (лапы, хвост, копыта, пасть, приготовь, краса, кровать!). И девочка в отчаянии просит совета у кошки: «Jaj, cicuskám-micuskám, mit csináljak?» (Ах, киска-мурыска, что мне делать?). Для приветливой девочки все кончится хорошо, а для не приветливой – плохо, потому что и черт понимает разницу. Бескорыстие награждается, жадность наказывается. И бесстрашие – безусловная добродетель.

Смех редко застревал у меня в горле, потому что юмор венгерских сказок добрый, светлый. Это юмор, вырастающий из фантазии, из находчивости. Беззащитный, но умный поросе-

нок обводит вокруг пальца грозного волка, ошпаривая его кипятком. Волк с облезшей шкурой хочет отомстить. Но теперь, чтобы прогнать волка раз и навсегда, достаточно одной только фразы: «Кипяток на плешивого!». И петушок успешно справляется с турецким владыкой, с умом используя собственные физиологические возможности.

Сказки про зверей и цепочные сказки я любила больше всего. Одни – за волшебство, другие – за мудрость. Даже если братец Волк, Братец Лис, Братец Кролик и братец Петух случайно пожирали друг друга, унося ноги от страха перед концом света, это было наказанием за глупость. Яйцо на макушке – и колеса истерии не удержать. Парой к абсурдности порой становится жестокость.

На Гюль-бабу падал снег. Светило солнце. Сказки все дни напролет. Я учила детские стихи и песенки (о Дебреценском Индюке). Когда мы уезжали из Будапешта, я знала, что такое розы и щемящие душу мелодии. Эти мелодии – напетые, сыгранные цыганами на скрипке, на кларнетах – меня больше не отпускали.

Мой слух отдан низине. Степной пентатонике. Чардашу и тем неровным ритмам, которые нарочно сбивают тебя с шага. Ты слегка спотыкаешься, и, споткнувшись, достигнешь цели. (Это и называется, наверное, венгерским темпераментом).

VIII. Сад, поезда

Днем он казался огромным. Там были груши, яблони и вишни с их компактными тенями, был огород, в котором всегда кто-то копался, с тяпкой или лопатой. Кусты томатов были в другом месте, по краю небольшого четырехугольного газончика, в царстве фей. Так говорила Марьета, тут же приводившая доказательства: разве конфеты, что висят тут и там на ветках – не дар эльфов? В центре сада красовалась, обрамленная камнями, клумба, к которой вели две узких, посыпанных гравием дорожки. Если пойти по левой, можно заглянуть в квадратную шахту колодца и увидеть свое отражение. За клумбой (розы, розы) располагались цветочные грядки и кусты малины, и где-то там сад переходил в садоводство, которое в свою очередь доходило до путей сортировочной станции. Со скамейки у стены дома, в окружении плодовых шпалер, была видна, сколько хватал глаз, только зелень – пышная, обузданная, подстриженная. Черные пытящие локомотивы на горизонте вдали относились уже к другому миру. По ту сторону рая.

Мальвы, лилии, космеи, вишня-антипка, брюква, латук, крыжовник, сверчок, величавые дрозды, томаты, свекла (песок на корнях), лук-резанец, айва, кислое лето, редька, безвременник, репчатый лук, изгородь, жимолость, абрикосы, огурцы, подсолнух, ласточки, гладиолус, пишица, тщи, бессмертник, быстрая вода, ветры, грабли, тачки, корзины, плетистые розы, мак и мартовский снег, белые луны, желтофиоли, запах копоты и вороны, птицы в мороз, фиалки, феи, щавель, шмели, орехи, клевер, бузина.

Ночью он темнел и съеживался. Лежа в кровати, я думала о его разноцветном изобилии, но ничего поделаться с пронзительными паровозными гудками не могла. После того, как сад затихал и бледнел, брали слово поезда. Они были очень близко, фыркали прямо в комнате. Стонали, вздыхали, лязгали. Я не знала, что там передвигают, соединяют, не знала, что такое сортировка, я только слушала эту суету, тревожную в ночи. Пыхтящий паровоз. Куда-то без конца катятся товарные вагоны. С какой целью? Тяга к дальним странствиям вторглась в дом, темная тяга. Любляна, 1949 год. Внизу спят дядя с тетей и мои кузины. Я вцепилась в большую меховую варежку, которая заменяла мне и кукол, и мягкие игрушки. Только с ней я чувствовала себя в безопасности, она была моим маленьким, уютным гнездышком.

Ведь мы были гостями, в саду, в холодной мансарде. Ночные поезда напоминали о том, что скоро в путь, снова в путь. Этот темный комод был не наш, и кровать тоже. Я обитала среди чужих вещей, чужого языка. Вещи остались такими, как были, язык постепенно стал ближе. Прижимая к лицу варежку, я вострила уши. VRT. Сад. SMRT. Смерть. Я выучила NOČ, VLAK, DAN, KRUH. Я учила их молча, я собирала мир. Не осколками, а цельными предложениями хотела я говорить. Поэтому и молчала, пока не получалось.

Сквозь ночь проносились, вместе с поездами, целые составы слов, одни рифмовались, другие наталкивались друг на друга. Соударение. Какое отношение имеет сад к смерти? Между грядками и рельсами ведь заборы, да и вообще. Только сорняки буйствуют там так же, как и здесь. Я лежала без сна, в прорезанной каким-то далеким прожектором темноте. Произносила по буквам с начала и с конца и прислушивалась, когда наступала краткая тишина.

Тишина была тесной. Зажатой между шумами. Она не дышала. И мне тяжело было дышать. Я пыталась представить себе лицо Марьеты, ее смеющиеся, лукавые глаза. Глаза как вишни. Звонкий, мелодичный голос. Расскажи мне сказку, Марьета, сейчас же. Но Марьета не хочет. Дай мне поспать, думай о феях. VILE, это звучало мирно и успокаивающе. Феи правили тайно, безмолвно, а вот VLAKI, поезда, кряхтели. Внутрь проникал резкий стук молота, что-то лязгало, свистело, звенело. И горестно пыхтело.

Мебель смотрела на меня. Занавеска висела, обмякнув, с невидимым цветочным рисунком. Обои молчали. Мне было страшно. А если они меня заберут? А если. Я деревенею, снаружи что-то громыкает. Я не могу закрыть глаза, потому что гремит в ушах. Я одна, но они не оставляют меня в покое. Моя кровать, подушка, одеяло хранят равнодушие. От двери я сочувствия не жду. Лишь окна иногда дребезжат, тихо. Окна.

Время от времени я впадаю в дремоту. Просыпаюсь и снова впадаю в забытие. Многократно. Пока, наконец, не засыпаю. Потому что усталость побеждает недоверие. Страх пробирается в сны, там он гнездится до рассвета.

Свинец, рельсы, руины. Металл наступает. Намертво сцепляются буфера. захватывают машины. Мамамашины. Дым. Сойти, пока не прокомпостированы часы, пока не рассеялся след длинного поезда. Они нагружены камнем. Детьми с обесцвеченными глазами. Отложиться – значит терпеть. Опломбировать, потом распечатать. Стенающее перемещение на северо-восток, и снег. Он не сладкий. Путешествие сошло с рельсов. Сквозит.

Варежка из кроличьего меха была светло-коричневая, с вылезшей шерстью. Потертая. Я ее замусолила. У нас даже сны с ней были общие. Я ее чувствовала, влажную, лохматую, щекой. Если я мерзла, то засовывала ее под ночную рубашку. За завтраком она лежала рядом с чашкой с молоком, на клетчатой клеенке. В туалете я цепляла ее за дверную ручку. Я с ней разговаривала. Она терпеливо следила за моими первыми шагами в словенском, хоть и привыкла к венгерскому языку. Она отзывалась на имя KESZTYE. Мы с Кестье были неразлучны. Моя старшая кузина понять этого не могла. Ее индейское лицо смотрело на меня недоверчиво и слегка укоризненно. В такую жару носиться с этой варежкой! Жарко бывало нечасто, разве что в саду, в самое солнце. Пока я бегала вокруг клумбы (розы, розы), Кестье лежала под грушевым деревом, в тенистой траве. Для разнообразия я пристраивала ее на кусты томатов, где она изображала пугало. Но она всегда должна была быть рядом. Ты чуешь запах? Смотри! Кестье многое испытала, и шерсть ее заметно поредела. Я ругала ее за то, что она лысеет, что у нее вытерся весь мех. Но любила ее, даже когда она облысела почти совсем.

Мы жили вместе, здесь, в этом доме с садом. Разумеется, мы когда-нибудь уедем, мы ведь всегда куда-нибудь переезжаем. Но сейчас – пауза, регулярное питание, полднишки. Сад был целым царством, полным всего. Что нам было еще нужно? Я никуда не хотела идти: ни в лавки, ни в церковь, ни в шумный центр города. Оставьте меня в покое. Грозная деловитость ночных поездов пугала меня и днем. Оставьте меня. И если тетя все же брала меня с собой, я цеплялась вместе с Кестье за ее корзину, молча ковыляла по улице и поднимала глаза, только если видела какой-нибудь ободряющий солнечно-желтый фасад. Такого цвета была школа Марьеты. Она мне нравилась. Мне нравился засаженный деревьями школьный двор, где резвились дети.

У меня не было друзей, а впрочем: у меня была Кестье и мои кузины. Но мы никогда не резвились. Двоюродные сестры дразнили меня, рассказывали всякие небылицы. Марьета отвечала за волшебство сказок и фей. В их глазах я была слишком маленькой, чтобы принимать меня всерьез. Я это чувствовала. И меня это злило. Поэтому я предпочитала оставаться одна – вместе с Кестье. Лучше всего в саду.

Случалось, что тетя возилась на грядках, и я подбирала орехи, запихивала их Кестье в живот. Или, вооружившись лейкой, помогала поливать и брызгала воду на изнывавшую от жары Кестье. Нам никогда не бывало скучно. Там и тут нас подстерегали опасности: неугомонные осы, кружившие над падалицей, черное жерло колодца (а он очень глубокий?), и на самом дальнем краю сада колючий кустарник и крапива, доходившая мне до колен. С помощью Кестье я смахивала кусачих муравьев. Она была моей защитой.

При взгляде на мать-и-мачеху и незабудки я задумывалась об их именах. Они казались мне печальными. Что-то во мне очень быстро темнело, сжималось и образовывало клубок. Тогда я с Кестье садилась на корточки и ждала. Ждала, пока он медленно разматывается.

Печальным было и слово «прощание». И «поезд», и «пути», и «снег», и SMRT. Смерть. Путешествие было полупечальным словом, точнее – печальным на три четверти. Потому что я не всегда хотела уезжать или не хотела, чтобы уезжали другие. Влекло ли нас любопытство? Или новое всегда было где-то не здесь? Вон там заканчивался сад, а за ним начиналась ничейная земля поездов, путешествий. Цветущий бурьян доставал до колес поездов. Он цеплялся за колесо и уносился прочь, обрывками.

Если я не засовывала пальцы в теплое нутро Кестье, то рылась ими в земле. Нашупывала камешки и черепки, червяков и корни. Особенно мне нравились корни, потому что они означали рост. И если я выкапывала в земле ямку размером с кулак, то вкладывала в нее косточку вишни или персика, чтобы выросло что-то новое. В моей страсти к растениям не было безудержности, скорее дружелюбие. В ней проявлялась тяга к постоянству, к заботе, к уходу и выращиванию.

И не было трехколесного велосипеда. Только выщербленные лопаты и полдник со шкварками на воздухе. Трава, мухи. Должно быть, июнь. Изгороди некрепкие, местами качаются. Здесь водятся кроты? Громкое жуужжание. После грозы зеленая щетина травы надламывается. Никто не сочувствует ей. И поникие головки цветов. Хмурое недовольство. Что было ладным, стало прохладным. Садовник там ходит в сапогах и комбинезоне. Кора деревьев мерцает как слюда. Всегда есть приезжие. Они заблуждаются. Качаются как сухофрукты на длинных бечевках, туда, сюда. Надо иметь терпение. Можно ли верить лету? Трава странствий вырастает в год. Год приносит астры. Они пахнут прогоркло-красно. Сквозняк пахнет копотью. Кузины хранят верность. Они защищают от беды. Как хлеб.

Три времени года было в моем саду. Четвертое мне пережить не пришлось. Как только отцвели астры, нас унесло прочь. Мы оставили дом, кузин, сад. Я не плакала. Я держала Кестье в правой руке и напевала словенские фразы. Полноценные, понятные предложения. Марьета – конфета. Поезда – врут всегда. Сад – карта мира.

IX. У моря

Любляна, это тоже туман и запах бурого угля, запах бурого угля и туман. Под туманом множатся грибы и простуды. В кафе «Европа» сплошь досада.

Ten we were heading towards the sea.

На карстовом плато резко меняется климат. Ключья тумана останавливаются, черными контурами выступают сосны на известняке. Скальные дубы, можжевельник, утесник. Красная земля. Каменистые осыпи. Колокольни церквей в свободно разбросанных селениях не острые, кампанилы. Привет от Средиземноморья.

А настоящий привет там, где карстовое плато заканчивается и круто спускается к бухте Триеста. Здесь громадным полукругом раскидывается море: нежно-голубое, мерцающее, обетованное.

У меня, должно быть, дух захватило от этого первого моего моря. И сейчас еще, когда я на своем севере закрываю глаза, я вижу его светлую ширь. Ощущаю запах соленой воды, слышу волны, бьющиеся о берег. И мир кажется в полном порядке.

Словно сами собой губы складываются в «О».

Вода, ветер, тепло, камень, белизна, синева, ракушки, морские водоросли, барвинок, лавр, розмарин, виноградная лоза, олеандр. И детские качели, и маяк, и Мирамаре, и рыба, и корабли.

Или так:

Детства квадрат
бухта маяк
замок самшит
веранда и лисьи
сказки истрийский
песок пляж с отцом
матерью и прибой
с эскимо и ветер
из Карста но нет страха

Стенограмма счастья, у которого в реальности было много лиц. Как у моря, у неба, у города, который был тогда разделен. Зона А была у союзников, зона В находилась под управлением Югославии. Мы жили в зоне А, в Барколе, в сторону Мирамаре. Красный, как бычья кровь, дом на крутой Виа сан Бортоло, над виадуком бывшей Южной железной дороги, с садом, беседкой и кричащим петухом. Верхний этаж, с видом на море. Ванную комнату мы делили с семьей офицера американского гарнизона, которая занимала соседнюю квартиру. На мой слух обрушились сразу два новых языка: английский и итальянский. Английский принадлежал той сфере, что оставалась мне чужой, итальянскому я выучилась у горбатой Виолетты, дочери нашего соседа, у детей на пляже, у рыночных торговек.

Я училась, училась. Плавать с пробковым поясом, разговаривать с Виолеттой, ездить на трамвае, противостоять ветру. Я училась до изнеможения и засыпала между отцом и матерью детским сном праведника.

Поезда, которые – на уровне глаз – проезжали по виадуку, не пугали меня. Ни днем, ни ночью. Игрушечные, двигались они перед горизонтом моря и исчезали.

В саду не было ничего волшебного. Тесный и запущенный, он был похож на чулан – с самшитом и инжирами, небольшой грядкой с зеленью и сердитым петухом, который в одиночестве копошился в редкой траве.

Я не хотела в сад, разве что на заросшую глицинией веранду. Я хотела на море, только на море. На фотографиях я изображена в длинной до пят венгерской цигейке, в шерстяной шапке, в Барколе на молу. Наверное, было холодно и ветрено, я морщю лоб. Но никакая непогода не могла удержать меня от моря, разве что самая сильная бора. Мое детство в Триесте проходило на белых прибрежных скалах, которые обрамляли берег Барколы и полукруглый мыс с замком Мирамаре. Большие, беспорядочно разбросанные плиты, между которыми бурлила, шипела или усыпляющее бормотала вода. А взгляд тем временем обшаривал горизонт в поисках кораблей или терялся в синеве моря.

Летом так было изо дня в день: собрать пляжную сумку и в десять утра вниз, на скалы. Мы с матерью выбирали самые плоские, расстилали покрывало с Белоснежкой и семью гномами и устраивались поудобнее лежа или сидя. Мама намазывала кремом спину мне, я – ей, затем она доставала книгу и читала мне вслух. Черти из сказок являлись теперь из пены волн, мамин голос так естественно смешивался с голосом моря, что я постоянно засыпала. В какой-то момент меня будило солнце и жизнь вокруг нас. Скалы были уже густо заселены, пенсионеры на набережной уже разложили маленькие складные столики, играли в шахматы или уничтожали принесенный с собой провиант. В воде резвились дети, иногда и собаки. Оглушенная зноом, слепящим блеском, я немедленно хотела купаться. Мама обвязывала меня пробковым поясом, смачивала затылок и мягко сталкивала в воду. И сама заходила следом.

Я говорю о безветренных днях, когда море было гладким как стекло, без волн. Или с небольшой рябью. Щекочет, качает, с прохладными потоками иногда. Поблескивают крохотные рыбки. Я кричу от радости.

Мне всегда было мало.

Выходить из воды было лучше всего там, где между камнями намывало песок. Ноги вдруг становились на твердую почву, а руки хватались за ракушки. Выбирали их из влажного песка, мыли, пока они не начинали переливаться. Ломаные ракушки не годились, учитывался каждый зубец, и узор, и блеск, и правильность формы.

Мне всегда было мало.

День делился надвое. Когда солнце оказывалось в зените, мы шли назад, в темно-красный дом, в его прохладные, выложенные кафелем помещения. Мы перекусывали немного, потом наступало время сиесты. Выпавшие часы, *slow-down* и *calm-down*, ш-ш-ш-ш, которые даже бесшумно-юрких ящериц заставляют прятаться. Только солнечные зайчики дрожат, дрожат на полу.

После арбуза на полдник мама вскидывала на плечо пляжную сумку, и мы с новыми силами спешили к морю, которое уже приобретало красноватый отблеск. Здесь царил большое оживление: кто не купался, тот загорал на скалах или прогуливался по берегу. Стар и млад, даже солдаты попадались среди гуляющих. Мамина соломенная шляпа подрагивала от вечернего бриза. Я плавала помногу, фыркая, как дельфин. Или качалась в надувной лодке. А потом ложилась на живот на скалы и смотрела в воду. Почти черная, она ударялась о камень, поднималась и опускалась. Дыхание, проносилось у меня в голове. Море дышит. И укачивает водоросли. Я всматривалась в темноту между скалами, вслушивалась в раздающийся звук. Который иногда был похож на раскаты грома. Как будто подо мной шевелился какой-то зверь. И так, пока у меня не закружится голова, а скала не начнет качаться. Тогда я закрывала глаза. Когда открывала вновь, меня слепило низкое солнце. Как огненный шар стояло оно над горизонтом, отбрасывая в море красную полосу. Лодки пересекали ее и растворялись в темноте. Бухта становилась лиловой, а звуки с берега медленно шли на убыль. Пенсионеры собирали столики. Скалы пустели. Мы с мамой молчали. Мы не спешили. Только когда бриз менялся

на прохладный вечерний ветерок, она опускала руку мне на плечи, и мы начинали собираться. Иногда уже в небе был виден серп луны.

По пути домой запах соленой воды смешивался с ароматом барвинка. Я могла угадывать, который час, по одному только запаху. Растения вздыхали с облегчением.

Устала? В конце долгого пляжного дня мы часто ездили в город, чтобы забрать папу и вместе с ним поужинать. Есть хотелось. Но еще больше меня радовало мороженое в засаженном платанами кафе «Виале XX Сеттембре». «Корнетто» или «Берлина», где в политый кофе ванильный шарик был воткнут тонюсенький вафельный парус.

Десять часов вечера: еще шумят воробьи в кронах деревьев, а внизу жизнь идет полным ходом. Все прогуливаются, стар и млад, размеренно или бодро. Наши прогулки нередко заканчивались в кино, откуда меня, спящую, домой нес отец.

Х. Амелия

Амелия, няня, помощница по хозяйству, быстрая, толковая словенка Амелия, уроженка Триеста. Она жила наверху, высоко на холме, в маленьком домике с перголой и роскошным видом, вместе со своей дочерью Драгицей. В любую погоду она выходила из дому, торопливо спускалась по множеству ступеней вниз – к нам или сразу на рынок, в рыбный и зеленой ряды на Пьяцца Понтероссо. Она покупала все, что нужно, прибиралась и иногда колдовала на кухне, стряпая обед. Фритто мисто с пряными сардинками, пасту с артишоками или красным салатом «радикьо», фаршированные баклажаны, куриные грудки. У нее был низкий голос и характер. Мое детское упрямство она парировала словенскими песнями. Я любила и уважала ее.

Мое уважение стало почти беспредельным, когда она выступила моей спасительницей: под мою подушку забрался скорпион. Недолго думая, она сняла правую туфлю, смахнула скорпиона на пол и прибила его подошвой. Раз-два и опасность предотвращена. Осталась только опаска: никогда я больше не решалась ложиться в кровать, основательно ее не обшарив. И исследовала каждый башмак: не притаилось ли там какое-нибудь чудовище. Опасность была особенно велика в прохладное время года, когда и скорпионы искали тепла. Из влажных садовых дебрей они бежали в дом.

С Амелией нас связывали маленькие секреты и одно настоящее, большое переживание. Это был серый день поздней осенью, когда пресловутая бора достигла рекордной скорости. Шквалы ветра обрушивались на город, ледяные, безжалостные. Было, наверное, десять часов утра. Страшный грохот заставил нас броситься к окну: на виадуке стоял поезд, с вагоном без крыши. Сорванная ветром крыша косо повисла на мачтах электропередачи, словно бесформенный металлический дракон. Крики, полиция, пожарные.

Мы с Амелией, не отрываясь, смотрели на аварию. Она делала нас, свидетелей, союзниками. А в моей голове шевелились темные образы, с шипящими паровозами и металлическим страхом. В том, что поезда не виноваты, меня никто убедить не мог. Даже Амелия, которая всегда знала, как быть. После аварии поезда опять, как игрушечные, стали ездить по мосту, но я уже узнала цену их безобидности, раз и навсегда.

Триест тоже бывал коварен. Бора не знала пощады, не жалела ни крыш домов, ни поездов, ни деревья, ни людей. Если она добиралась до улиц в центре города, то сметала на своем пути все, что ему попадалось. Летали стулья, детей подбрасывало, словно воздушные шарик, крепкие полицейские стояли на самых оживленных перекрестках, помогая маловесным прохожим перейти улицу. Лучше всего, конечно, было не прибегать к их услугам, оставшись дома. Как только жалюзи начинали дребезжать от ветра, судьбу было лучше не испытывать. Ветер есть ветер, бора есть бора.

Когда ветер бушевал, море штормило. Серая, бурлящая масса с желто-белыми пенными кронами, гонящимися друг за другом. Громадные волны обрушивались на прибрежные скалы, с грохотом и треском. В небольшом порту Барколы лодки качались как ореховые скорлупки. Мачты яхт мотались во все стороны, хрупкие, как палочки микадо.

Ад крошечный, обычно говорила Амелия и хмурила брови. Тут рецепт был один – ждать. Набраться терпения.

Я удивлялась превращениям этого города на море. На ночь он выпускал когти, становясь опасным. Принуждал к отступлению. Если бушевала стихия, диалог прекращался. Дом становился крепостью, все остальное – чужим.

Что-то во мне противилось этой стремительной перемене, этой диктатуре ветра, смиренности перед ним. Я была непокорным ребенком.

Амелия меня не опекала. Но при необходимости ограничивала, энергично и весело, как ей это было свойственно. Мы были с ней хорошими друзьями. Мы поддразнивали друг друга,

мы пели. Иногда она брала меня с собой за покупками, в Меркато Коперто, большой крытый рынок, где на длинных рядах были разложены дары моря: кальмары, крабы, лангусты, рыбы всех размеров и цветов, восхваляемые жизнерадостными торговцами. На рынок мы ехали на трамвае. Он курсировал от парка Барколы до Пьяцца Обердан. Вечнозеленый парк таил в себе нечто загадочное: маленький пряничного цвета деревянный домик, никогда не подававший признаков жизни. Амелия назвала его ведьминым домиком. Едва только она произнесла эти слова, я тут же уверовала в их истинность. Здесь жила Баба Яга. Днем она не показывалась, бесчинствовала по ночам. Я с беспокойством смотрела на закрытые ставни, не появилось ли какой-нибудь щелочки. Безмолвие хижины было страшным. И становилось тем страшнее, чем больше историй об этом домике рождала моя фантазия. Баба Яга охотится за детьми. Если они слишком любопытны и осмелятся подойти близко к домику, двери распахнутся и метла Бабы Яги заметет их внутрь. Поэтому я держалась на приличном расстоянии, лишь осторожно косясь на безмолвную хижину через кусты.

Один и тот же ритуал: трамвай уже ждет, а я все не могу оторвать взгляд. Как будто нет ничего более притягательного, чем овеванная страхами тайна.

Амелия предоставляла меня моей фантазии.

Иногда к нам приходила Драгица, дочка Амелии, подросток. Она была белокурая, кругленькая, с крестьянским лицом. Не думаю, что мы с ней играли, по большей части она была на подхвате у своей матери. Но однажды был какой-то праздник и нас обеих нарядили в национальное словенское платье: длинную, до пола, пышную белую юбку, белую блузку и белый платок на плечи. Вокруг головы наподобие тюрбана был намотан белый платок, полностью покрывавший лоб. В этом обилии ткани выглядели мы довольно потерянно. Как статуи, как монахини. Если судить по фото.

У словенцев было весело. Их деревни – высоко над Триестом и позади него – входили в зону В. Мы часто ездили туда, чтобы поесть на каком-нибудь деревенском постоялом дворе. Особенно в выходные и после жаркого дня. В деревнях Карста было прохладнее, часто дул легкий ветерок. Мы ели на воздухе, за длинным деревянным столом. Подавали щи, жаркое из свинины, панированного цыпленка, дичь. Тяжелая крестьянская пища, отличавшаяся от средиземноморской рыбной кухни. Словенская кухня похожа на австрийскую: палачинки, сливовые кнели, ореховый рулет и маковый торт. Запивали кисловато-терпким вином Карста, поднимавшим настроение.

Мы редко ели одни. Папа приглашал коллег – или мы брали с собой Амелию, чтобы она отдохнула от готовки. Она ела с большим аппетитом, бодро налегала на вино, заразительно смеялась. Когда за каким-то столом в поздний час запели, она тут же подхватила. Пение для нее было эликсиром жизни.

Долгие, прохладные вечера, до окончания которых я почти никогда не досиживала. В какой-то момент меня настигала усталость, голова клонила на материнские или отцовские колени, и я засыпала. Папа относил меня в машину, из машины в дом. Если я просыпалась, то принималась плакать. Это входило в ритуал.

XI. Комната для сиесты

*В тишине все происходит одновременно
Образы висят в воздухе и
могут длиться до бесконечности.*

Анджей Стасюк

Это был центр моего детства. В комнате с опущенными жалюзи, время сиесты. Я одна, я не сплю. Голова работает, а я лежу, вытянувшись на кровати, приговоренная к ничегонеделанию. Это называется: тихий час. Это называется: отдыхать. Я не люблю ни эти цезуры, ни этот сумрак среди бела дня. Но правила не терпят возражений. Я веду себя тихо. Тихо. А потом происходит вот что: чем дольше длится тишина, тем разговорчивей она становится. Я слышу обрывки голосов, легкий шелест листвы. Где-то вдалеке воет собака (хотя животные тоже спят в это время). Что-то скрипит. Где-то шумит слив унитаза. Мой слух собирает эти звуки и всасывает их. И я напряженно вслушиваюсь дальше. Viaggio. Или по-венгерски: vigyázz (внимание!). Где говорят? Кто? С кем? Зачем? Чем меньше ясности в услышанном, тем сильнее меня оно занимает. Уже бормочу, предложения, диалоги. «Я уезжаю». «Путешествовать?». «Можно и так сказать». «Куда?». «В Южную Америку». «Морем?». «Морем». «Надолго?». «Думаю, да». Молчание. «Ты очень смелый. Береги себя». И вот прощание в одно мгновение. В прощаниях я кое-что смыслю. И все же привираю. Додумываю, чтобы ступить на знакомую почву.

Иногда, правда, манит неизвестное. И я начинаю себе что-то фантазировать. Как пираты на черном корабле под трижды тремя черными парусами похищают Стеллу. Чудесным образом, они ей ничего не делают. Она жарит им рыбу, чинит белье и каждый день получает за это в награду заход солнца. Когда пираты возвращают ее в родную деревню, у нее бронзовый как у матроса загар, а рыжеватые волосы блестят как золото. Стелла, звезда наша, радостно встречают ее счастливые родители. А пираты, сверкнув белоснежными зубами, машут и уходят в открытое море.

Греза наяву, я создаю себе мир. И забываю о времени. Как давно я уже лежу в затемненной комнате? Которая, впрочем, вовсе не так уж темна и мертва. Глаза быстро привыкают к сумраку, следят за сетью трещин на потолке или за солнечными зайчиками, скачущими по кафельному полу. Сквозь щели в жалюзи всегда просачивается немного света, образуя дрожащие полосы или пятна. Я не могу насмотреться на это представление. А это не козья голова? Не ослиный профиль? Вглядывание требует толкований, и комната вдруг оказывается обитаемой. Населенной зверями и другими существами, я даже слышу их шепот. Каждый раз заново переживаю я превращение моей сагега obscura в комнату чудес, а моего одиночества в счастье. Даже бордовая плитка на полу начинает говорить. Если она говорит достаточно долго, я трогаю ее ступнями. Я скольжу по ее прохладной поверхности, обходя пятна света. Пол как шахматная доска. Как узор с подвижными элементами.

Комната для сиесты была моим царством. В которое действительность проникала, как бы пройдя через фильтр, приглушенной настолько, что будила мою фантазию. Одно влекло за собой другое. Без жалюзи никаких воображаемых путешествий. Под защитой их проницаемости я как будто приходила к себе самой. Отваживалась на полет в высоте и блуждание в лабиринтах. Да, иногда мои мысли тоже начинали идти по кругу. В этом было что-то стесняющее, даже комната начинала сжиматься. Мне нужно было освободиться, перехитрить свое упрямство. Часто помогала строка из песни, и мысли плыли за ней. Свободное плавание в море мыслей.

Время между двумя и четырьмя часами дня было моей тайной. Мама считала, что я сплю. Во всяком случае, она не спрашивала меня, как я провожу время. Когда она меня звала, я потягивалась и стирала свои сны наяву. И ничего ей не рассказывала.

Свет снаружи ослеплял. Все было светлым и громким. Я так привыкала к нюансам темноты, к оттенкам тени и света, что дневной свет казался мне агрессивным. Мир причинял боль.

Со временем комната для сесты стала моим приютом. Убежищем. Окружавшая меня пористая мембрана давала мне чувство защищенности и свободы. Здесь я разбирала по слогам свои открытия, переживала внезапные озарения.

Я была дитя жалюзи.

ХII. Городские картинки

Налево – угол дома с белой защитной тумбой, через несколько метров – стена с молитвенной нишей эпохи барокко (распятие). Между ними мощеная улочка, которую пересекает мужчина. Мужчина в шляпе, в шарфе, в черном пальто. В левой руке палка. Правая рука с оттопыренным большим пальцем светлым пятном выделяется на фоне пальто. Носок правого ботинка блестит. Над улочкой тянутся телефонные провода. Виа дей Капителли, в бывшем гетто.

Giardino Pubblico. Громадные платаны распростерли свои узловатые руки. Конские каштаны, буйная зелень и глянцево-зеленые кусты самшита. По выровненной граблями песчаной дорожке идет мужчина, руки сцеплены за спиной. Шагает свободно и бросает любопытные взгляды на парковые скамейки, где на солнце греются пенсионеры и мамочки с детьми.

Этот человек не мой отец.

Наверное, вот он, выступает из-за белых колонн биржи. В светлом летнем костюме, под мышкой папка. Из здания выливается поток людей, на ходу надевающих солнечные очки. Поток быстро рассеивается. Мы переходим улицу и садимся за один из длинных столов в ресторане «Да Пеппи». Здесь шумно и пахнет квашеной капустой. Колбаски подаются на картонных тарелках. Есть еще вареная ветчина с хреном или боллито мисто. Здесь жарко от горячей пищи и человеческих испарений. Папа несколько раз вытирает лоб. Он торопится. Мы с мамой – нет. Мужчина за стойкой, со смехом орудуя большим ножом, желает нам на прощание хорошего дня. На мелодичном словенском.

Сербская церковь с голубым куполом. Внутри просторно, взгляд стремится вверх, к Спасу Вседержителю. Старая женщина возится перед иконостасом: вынимает огарки свечей из латунных подсвечников, задувает наполовину обгоревшие свечи. Трижды крестится перед Богородицей и целует икону. Красные ковровые дорожки, в церкви висит запах ладана.

И, кажется, что тишина звенит.

За стойкой работает горбатый человек в очках. Прижав подбородок к груди и по-паучьи согнув руку, он прикладывает к конвертам тяжелый штампель. Голос у него оказывается высоким, когда он называет стоимость. Мама торопливо выбирает мелочь из кошелька. За нами образуется небольшая очередь. Люди молчаливо стоят в просторном операционном зале, он богато отделан и выглядит чуть ли не торжественно. Здание почтамта желтое, желтое, как школа Марьеты в Любляне. А на площади перед ним плещется фонтан.

Лестницам, кажется, не будет конца. Ступени у них неровные и крутые. Женщина с двумя набитыми кошельками, останавливается, делает пару шагов, останавливается опять. Она с сомнением смотрит вверх. Потом на двух детей, которые, крича, идут ей навстречу. И продолжает подъем. Справа и слева от лестницы – деревья, образующие аллею. До самого верха. Их тени мраморными прожилками ложатся на тротуар. Акации? И обрубки колонн за решеткой виллы? Неожиданно женщина исчезает, так и не достигнув плато. Церковь Сан-Джусто. Широкая площадь, шум города как далекий прибой. Внутри собора сияет золото апсидной мозаики. Второе солнце.

Они пьют шоколад или мокко: дамы с проседью за мраморными столами в кафе «Сан-Марко». Сумочки и перчатки лежат рядом, на красной плюшевой обивке. Очки – возле сереб-

ряного подноса. Оживленная беседа, ни малейшей паузы. Руки участвуют в разговоре. Время от времени одна из них делает глоток или пудрит нос. Поймав взгляд, официант мгновенно оказывается рядом. Чего изволите, синьора? У дам есть время. В глубине стоят бильiardные столы, обтянутые зеленым сукном. Здесь царство мужчин. Стук шаров пронзает плотную завесу звуков, перекрывая дамскую болтовню. Клик-клак. Кии длинные. И маски, украшающие кофейню, подбивают на озорство.

Перед нами высокий, в восточном стиле, фасад синагоги. Час не ранний и не поздний. Бородатый мужчина в жесткой черной шляпе сворачивает за угол и исчезает. Прохожих почти нет. Какое-то время мы просто стоим. Потом мама подходит к воротам и пытается открыть. Ворота заперты. Она находит дверь со звонком. Звонит. Проходит довольно много времени, и появляется молодой человек, спрашивает, что нам нужно. Мы хотим осмотреть синагогу. Он качает головой. Никаких объяснений. Его отказ не категоричный, но решительный. И мама не настаивает. Он медленно закрывает дверь, замок защелкивается почти беззвучно. Мы разворачиваемся.

Прямоугольный парк обнесен низкой каменной оградой. Парк тенистый и прохладный. У подножья платанов, рядом с аккуратными песчаными дорожками – скамейки. Сидящий на скамейке либо смотрит на голубей, которые, покачивая головами (зобами), бродят в поисках еды, либо прячет лицо за большой газетой. Мне не нравится сидеть. Мне нравится ходить по каменной ограде, ставя одну ступню впереди другой. Самой. Мама то и дело протягивает мне руку, но я ее не принимаю. Слева заросли лавра, буйная зелень Пьяцца Хортис. Где-то кричит торговец цветами. Я иду ровно, с чувством триумфа.

Трамвай – это фуникулёр, он поднимается почти вертикально вверх, к Опичине. Поначалу он движется небольшими рывками, отчего в животе становится щекотно. Между огромными домами он ползет все выше и выше, оставляя позади все, фасады, шум, городскую суету. Вагоны взбираются по отвесному склону, словно их вытягивают наверх невидимые руки. Когда я смотрю на рельсы подо мной, у меня начинает кружиться голова. Закрываю и открываю глаза. Когда мы оказываемся наверху, я, шатаясь, выхожу из вагона. Под нами вся бухта, словно растянутый смехом рот. И море глянцевое, белое.

ХІІІ. Дядя Миши

Он не был нашим родственником, он был коллегой и другом моего отца. Но я называла его дядей. И очень любила. Миши, уроженец Венгрии и английский гражданин, воевал во время Второй мировой войны в Египте против войск стран «оси» и получил тяжелое ранение плеча. Что ранение причиняет ему боль, было видно. Тонкие черты, бледное лицо, печальные карие глаза. Миши был замкнутым, даже скрытным, очень наблюдательным. И когда он говорил, блистал юмором, иронией и сарказмом: и по кому у нас сегодня поминки? Неожиданно проявилось его отчаяние, скрытое до поры. (Оно скрывалось до тех пор, пока он в Лондоне не наложил на себя руки, ему было пятьдесят).

Когда я залезала к нему на колени, он смягчался, сам становился ребенком. Скепсис слетал с него, он улыбался и шутил. Думаю, я любила ребенка в нем.

Со мной он был не тем робким мальчиком, единственным сыном в добропорядочной еврейской семье, что рано заполучил астму, он был просто ребенком. Готовый подурчиться, слегка легкомысленный, в худшем случае – сверх меры снисходительный. Я снимала шляпу с его головы – он носил шляпы и зимой, и летом – и требовательно на него смотрела. Ага, говорил он, надо рассказать тебе сказку. Я кивала.

Жил-был мальчик, у него было плоскостопие и большое желание исследовать мир. Он рисовал континенты, железные дороги, шоссе и реки. Однажды он надел свои самые лучшие штаны и отправился в путь. Он шел то в гору, то с горы, и так до самой темноты. И когда, усталый, вытянулся в траве, то вдруг увидел светящийся язык, который принялся его облизывать. Нет, ему не приснилось, щеки у него были мокрые. Согрей меня, попросил он, и зверь засопел. Утром рядом с ним уже никого не было. В животе урчало. Он взял сумку, в которой лежали нарисованные им самим карты, и пошел навстречу солнцу. Перепрыгивал через лужи и слушал стрекот сверчков. Добравшись до железнодорожной насыпи, он решил держаться рельсов, ведь они вели прямоком в большой мир. Поезд не пронесся мимо, он подошел, с кряхтением и грохотом, шипеньем и звоном. Мальчик увидел его черную как смоль голову и поднял руку в знак приветствия. И тут из окна кабины машиниста выглянуло его счастье: считавшийся пропавшим отец! В лихой фуражке железнодорожника! Мальчик забрался на локомотив, ему было все равно, куда он едет. Его глаза все время были устремлены на лицо отца, и если он отводил взгляд ненадолго, то видел реки и равнины, горы и моря, и так, пока не наступила ночь. Светили тысячи звезд, и пахло степной травой. Под ритмичный стук колес мальчика одолела усталость. Ржали лошади, кричали сычи. Где-то блеснул язык и пропал. Но мальчик уже спал, а отцовский локомотив вез его в большой мир.

Миши ласково клал руку на мою голову. Он рассказывал мне сказки, хоть и не верил ни в сказки, ни в Бога. Я угадывала самоотверженность в его попытках во что бы то ни стало пережить себя. Меня он делал счастливой, сам – только казался. Но видимость эту он создавал с охотой и хорошо.

Сейчас я знаю, что ему нельзя было помочь. Виноваты ли темные тени из детства или ужасы войны в обжигающей солнцем пустыне Египта, но Миши утратил всякую веру в жизнь, и собственное тело было ему в тягость. Одно неверное движение, и правая рука у него высккивала из сустава, и ее надо было вправлять через дикую боль. Тело хрупкое, душа нестойкая. В то время как искрометный ум запутывался в себе все больше. Мир для Миши сошел с ума, скомпрометировал себя раз и навсегда. К такому миру можно только повернуться спиной, вместе с Иваном Карамазовым. А пока до этого не дошло, Миши, убежденный антифашист, ратовал за левое дело. И этих убеждений он придерживался с детской простотой. Не вступая ни в какую, даже коммунистическую, партию. (Правда, одно время он сотрудничал с британскими

спецслужбами). Одиночка, нравственно безупречный и в своей уединенности неподкупный. Его тихий облик внушал уважение. Друзей у него было немного, отец был одним из них. Меня, ребенка, он тоже вдруг принял в свое сердце. Я отчасти была и его ребенком, о том, чтобы иметь собственных детей, он и помыслить не мог.

Его жена, Клара, была спокойной и уравновешенной, с суховатым юмором и изрядным запасом житейского практицизма. О своем прошлом она почти не говорила. Она прошла Освенцим и трудовые лагеря; ее первый муж, раввин, погиб в газовой камере. Умный инстинкт подсказывал ей, что держаться нужно за малое. Конкретное, осязаемое, зримое. Помню, с какой тщательностью она одевалась, как осознанно делала покупки. Когда у меня родился брат, я много времени проводила с Кларой и Миши. Пока Миши работал, Клара брала меня с собой в Меркато Коперто, огромный рынок, где она долго обсуждала с торговцами фрукты и рыбы качество и стоимость товара. Мне казалось, бесконечно. Мертвые рыбы смотрели на меня стеклянными глазами. Я изучала узор их чешуи, их открытые рты, пока мне не становилось дурно от запаха. А Клара все еще торговалась, нависнув над красными раками и черными мидиями, старательно, почти педантично.

В моем присутствии Клара и Миши никогда не ссорились. Тем не менее, я чувствовала большую разницу между ними. Миши был разочаровавшимся идеалистом, Клара – прагматиком. У Миши была фантазия и поэзия, у Клары эти качества не вызывали ничего, кроме улыбки. Миши в глубине души жаждал быть ребенком, Клара была взрослым, благоразумным человеком. Таким образом, они дополняли друг друга, не становясь при этом целым. Два оставшихся в живых человека, случайно сведенные судьбой, находящие утешение и тепло в сигарете. Оба курили одну за другой. Их указательные и средние пальцы были желтые, желтыми были и ногти. И рот у Миши совсем искривился от сигареты, которую он все время посасывал.

Разные люди, они и умерли по-разному. Миши покончил с собой – от горечи и усталости – при помощи лекарств, Клара умерла двадцать лет спустя от рака. До последнего дня она разгадывала кроссворды и читала английские детективы. У нее был гениальный дар – умение отвлекаться. Даже будучи диктором на BBC, она отдавала работе только свой голос. Эмоционально держалась на расстоянии. От всего, включая саму себя. Все свои сбережения, которые она сделала, экономя, в том числе, и на еде, она пожертвовала какому-то еврейскому обществу.

XIV. Цвета

Цветки глицинии были лиловыми, точнее нежно-лиловыми, чуть ли не синими. Пышными соцветиями выстреливали они из узловатых ветвей и повисали кистями, словно маленькие сердца. Влажно-лиловые как веранда.

Мама носила светлое. На ее белом пляжном платье из набивной ткани без рукавов были нарисованы кораблики. Парусники, морской рисунок. Болеро было из той же материи. Мне нравилось считать кораблики на платье. Половинки я пропускала.

Уже издали я узнавала наш дом по цвету бычьей крови. Он был не ржаво-красный, а темного, сочного цвета, именно цвета бычьей крови. Стена как бы сопротивлялась, отказываясь носить такой цвет, с нее сыпалась штукатурка. Образовывались странные карты с белыми пятнами. Расшифровщики настенных узоров – «муроманты» Данило Киша – порадовались бы.

Сейчас кроваво-красная краска совсем облупилась. Белесо-серый, стоит дом на склоне, словно со снятой кожей.

Море было синим и зеленым, бирюзовым и серым, пепельным и черным, а также белым, розовым, красным и оранжевым, золотым и серебряным. Зеркало неба, каждый день другое. А именно – гладкое, взбудораженное, в ряби или в волнах. Оно ускользало от всякого определения. Я училась любить его изменчивость, неуловимость.

Иконостас в церкви Сан-Никколо светился из темноты помещения. Теплое золото, светлые оттенки красного. Георгий Победоносец в красном одеянии вонзает свой меч в пасть чудовища. Действие, исполненное силы, как красный цвет. Большинство святых стоят твердо, с достоинством, лица оливкового цвета на золотом фоне. Вид у них серьезный и отсутствующий. Золотой цвет – это Рождество, ладан, странность греческого языка, гнусавым монотонным пением парящего в пространстве. Золотой – то возвышенное, что окружает Богородицу с младенцем Иисусом и заставляет меня умолкнуть.

Белый как известь возвышается огромный перст, указующий кораблям путь домой: маяк. Я видела его из окна, выходящего в сад, с набережной, – отовсюду. Наш символ, говорила мать. Наш страж, добавляла я. Он оберегает не только мореплавателей, но и тех, кто остался дома, защищает весь город. Наша светлая башня, башня мира.

У нее был тигровый окрас, она охотилась на мышей и шипела на петуха: Мицци, бродячая кошка. Амелия звала ее так, Амелия, которая иногда подбрасывала ей чего-нибудь. Мицци была не наша, не из нашего сада, но я радовалась, когда видела ее. Я подзывала ее по-венгерски – *cicuska, micuska* – и зарывалась рукой в ее мягкую шерсть. В полосках и пятнах, она была просто красавицей. Глаза сверкали желтым цветом. Сверкнул и пропадут в один миг. Мицци любила свободу.

Красный коврик в ванной комнате, цвета фуксии. Американцы его постелили? Пушистый, с растрепанной бахромой. Мои мокрые ноги оставляли на нем отпечатки. Отпечатки со временем становились больше. Я росла. А потом коврик пропал. И больше не появлялся. Тонкий бежевый мне не нравился. Теперь мои ноги росли без меня.

XV. Границы

Где их только не было. Если нам надо было попасть в окрестности Триеста, приходилось переезжать из зоны «А» в зону «В». Если нужно было дальше, в Люблян – еще одна граница. И всюду предъяви документ: контроль. С заднего сидения нашей машины, часто в полусне, завернувшись в одеяло, я смотрела на пограничников, солдат, отдающих честь. Шлагбаумы опускались и снова поднимались. Что там иначе по ту сторону границы? Деревья выше? Лица у людей дружелюбнее? И пойму ли я, что они говорят?

Двойкие они, эти границы. Странные, ужасные, внушающие страх, но и манящие. Я ощущала их как линии напряжения, будившие мое любопытство. С одной стороны, они создавали барьеры между знакомым и незнакомым, вынуждая поднимать занавес, смотреть через дырку в заборе, заглядывать через шлагбаум. С другой стороны, это были переходы, точки трения, точки соприкосновения. Я догадывалась об их тайне, но инстинктивно чувствовала их относительность. Границы нужны для того, чтобы их пересекать.

Мы часто ездили в Люблян, навестить сестру отца. Сто двадцать километров по плохим извилистым дорогам. Путешествие начиналось с пересечения двух границ. И заканчивалось так же, обычно ночью. Наверное поэтому у меня было ощущение, что мы ездили очень далеко. Преодолевали препятствия. Границы были как гребни волн: все скапливалось, усиливалось и переваливалось. Даже время. После кульминации напряжение снималось, но что-то было уже по-другому.

Бывали места безлюдные. Область Карста, каменистая и скудная. Заправок я не припомню. Только дикая нетронутая природа. Ночью мы как-то сбили зайца, папа положил его в багажник и подарил одному крестьянину.

Все поездки у меня путаются в голове, их было слишком много.

Я еще вижу свет фар, шарящих в темноте. Никакого обозначения обочин, никакой разметки. Только темнота и выбоины. Иногда мы в них попадали.

Приходилось и колеса менять. Неуютная остановка на ничейной земле. Когда было непонятно, сможем ли мы вообще двигаться дальше, и как. (Кто из нас троих уповал на Бога?). Ехать лучше, чем стоять, этот девиз усвоила очень быстро.

Однажды ночью, думаю, по пути в Загреб, на обочине махал руками человек и заставил нас остановиться. Не видели ли мы беглеца. Беглеца? Воры обообрали его виноградник. Далеко уйти не могли. Нет, мы никого не видели. Он отступил назад и обреченно опустил руки.

Слово «воры» будоражило мою фантазию еще много дней. Наскочившее на меня посреди ночи на безлюдном участке дороги, вырвавшее меня из сна: воплощение опасности, которая, возможно, ждет там, за следующим поворотом.

И по сей день я стараюсь не ездить на машине ночью. Чужое, помноженное на ночь, пугает меня. Ребенок во мне регистрирует опасность.

Я была ребенком пути.

На сквозняке в дороге я открывала мир и видела, как он развеивается.

Открывала Сейчас, и как оно растворяется.

Я уезжала, чтобы приехать, и приезжала, чтобы уехать.

У меня была меховая варежка. Это у меня было.

У меня были отец и мать.

Детской комнаты не было.

Но было три языка, три языка у меня были.

Чтобы переводить, отсюда туда.

Если пограничник смотрел сердито, я засовывала палец в мех.

Мех рассматривал униформу.
Униформа казалась засвеченной.
Можно было двигаться дальше. И двигались дальше.
Между границами простора было мало.
Ровно столько, чтобы чуть-чуть поозорничать.
Разочек.
Поджарить поросенка на берегу реки.
Или по высохшим следам шин пробежаться к небу.
И потом границы снова вставали.
И время таяло в привыкании.
Слева прощание, справа прибытие.
Или наоборот.

XVI. Светлая парентеза

А теперь расскажи про другое. Про жареного поросенка. Поездки ведь могут быть и радостными.

Верно. Это когда приезжаешь на семейный праздник. По-моему, у двоюродного деда Ганзека был день рождения. Он жил в Орможе, со своей матерью, трубочисткой Марией, холостяк и страстный рыболов. В руке у него всегда была либо удочка, либо бокал белого вина. Лукавые глаза, красный нос, всегда расположен к шутке, всегда насмешлив. Мне он нравился. Тот день в начале лета был теплым. Мы стоим на берегу неторопливой Дравы, Ганзек удит, папа тоже решил попытать счастья. Я смотрю на воду, мужчины ожесточенно молчат. Река блестит на солнце, белая, серебряная, голубая. Я знаю, там полно рыбы. И тут у Ганзека клюет, нет, не легендарная щука, но очень красивый лещ. И попадает прямоком в бадейку с водой. За утро их будет четыре, пять. Как раз хватит на закуску.

Закуску?

Главным блюдом был поросенок. Ганзек купил его у одного крестьянина. Его жарили на вертеле на открытом огне, рядом с рекой. Несколько часов. Из Марибора приехали бабушка с бабушкой, и тети, и двоюродные бабушки. Когда солнце уже было низко, приступили к еде. Ужин длился до ночи.

Что в этом было особенного?

Веселое настроение. Пряный запах дыма. Хрустящая корочка. Я в первый раз пила вино и чокалась со всеми по-словенски: Na zdravje. Что, вообще-то, было больше похоже на «Na zdavuje», потому что выговорить подряд столько согласных я не могла.

Чувство счастья?

Чувство счастливого благополучия. Я была самой младшей в этом кругу. Обо мне заботились, ненавязчиво, без лишнего шума. Я ела, пила, смеялась, щекотала дедову лысину, пока не завопит. Нас было много. Мы были одной большой семьей.

Это было чувство защищенности?

Защищенности и сплоченности. Что они для меня значили, я поняла только потом. Когда семья сократилась и опять стала маленькой. Когда я одна лежала в комнате для сиесты.

Драва была светлой?

Она была светлой, до самой ночи. Может быть, в ней отражалась луна. Этого я не помню, помню только тихий плеск воды. Замолкая на мгновение, мы слышали реку, лягушек и сверчков. А потом Ганзек запел. И все подтянули.

Семейный хор?

Можно и так сказать.

Никакого диссонанса?

Пусть это будет счастье. Или то, что я тогда таковым считала. На пикнике с поросенком. А другие страны света были?

Мы ездили в Градо. На эти бесконечно-длинные песочные пляжи, что были для детей настоящим купальным раем. Я строила песочные замки, пекла песочные куличики, по самую шею зарывалась в песок. И забегала в теплую, мелкую воду. Без усталости. Пока жара не становилась колючей. И тогда мы шли в какую-нибудь трактирию в Старом городе. Ели рыбу. Остывали от жары. Еще прохладнее было в церкви Санта-Еуфемия, раннехристианской базилике с мозаичными полами и светлой мраморной апсидой, колоннами и скромным престолом. Она мне нравилась. Я не хотела уходить.

Необычно в таком возрасте.

Пусть это звучит странно: мне было там уютно. В хроматическом белом. В звенящей тишине. Где-то на стропилах ворковали голуби. Особенное место.

И снова назад, на пляж?

Мы купались допоздна. Ряды пляжных шезлонгов редели. По песку устало брели семейства, в сопровождении маленьких собачек, которые напоследок еще раз смачивали шерсть. И вот наступал момент, который Бьяджио Марин описал так:

«Осиротело
Без берегов, без маяков
Большое море,
Его круг, как и был, – тверд и гол»

И это тоже было как колдовство?

Я не могла бы это выразить лучше.

E Venezia?

Ей нет конца. На каждом мосту она начинается заново. Я стаптывала ноги в хождении по городу. Сходила с ума от каналов, зеркальных отражений, кораблей и гондол, улочек и картин. Мама отвела меня в Фрари и в галереи Академии, я тащила ее к своим любимым картинам. Все волновало меня. Венеция была гораздо динамичнее Триеста, театральнее. Она будила во мне радость игры и превращений. И озорства. На фото я рядом рядом со львами Арсенала. Больше всего мне нравилась египетская львица с меланхолическим взглядом.

На день в Венецию?

Венеция снова и снова. На Рива дельи Скьявони был пансион, где мы один-два раза ночевали. Перед нами лагуна, бледно-голубая, корабли стрекочут моторами. Недалеко парк Джардини с развевающимися качелями и овалами луж.

Маски?

Мне купили маску в одной из кустарных лавок, Коломбину с накрашенными щеками. И мой сын точно так же разгуливал потом по Венеции в огромной шляпе. В нем было то же озорство. В восемь лет он сам сочинил стихотворение, я не поправила ни строчки:

Венеция – красота,
Серый цвет,
Синего – нет.
Зимой.
В Венеции и заторов нет,
Разве что в Местре.
Ах, Венеция.
Ты город воды и
Моря, и здесь
Не бывает горя.
Мысли летают и
Арлекинов сгибает
От смеха.
И нет здесь
Ни ссор, ни забот,
В широкой ухмылке растянут рот.
Венеция – просто рай,
Только на гравий не наступай...

XVII. Тени

Солдаты, ущелья улиц, строгие имперские здания, заброшенные портовые сооружения, руины, нищие, инвалиды войны: у меня и тогда уже проскальзывало подозрение, что у Триеста есть и теневая сторона. Город на море смеялся лязгающим смехом.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.